Утешительные итоги

Евгений Звягин

Евгений Звягин

# Утешительные Итоги

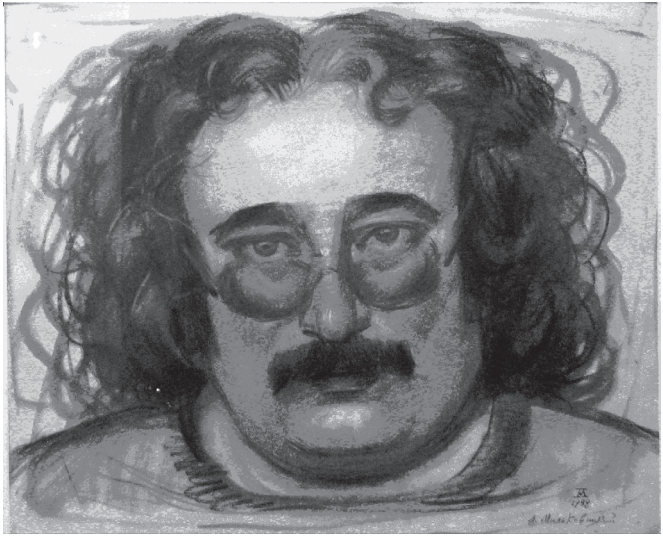
Рассказы

Эссе

Издательство
«Юолукка»
Санкт-Петербург
2011

**ЕВГЕНИЙ**
**ЗВЯГИН**

# УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ



ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

# УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

## РАССКАЗЫ, ЭССЕ

Санкт-Петербург

Judlukka

2011

Евгений Звягин. **Утешительные итоги.** Рассказы, эссе. Юолукка. – СПб: Юолукка, 2011. – 272 с.

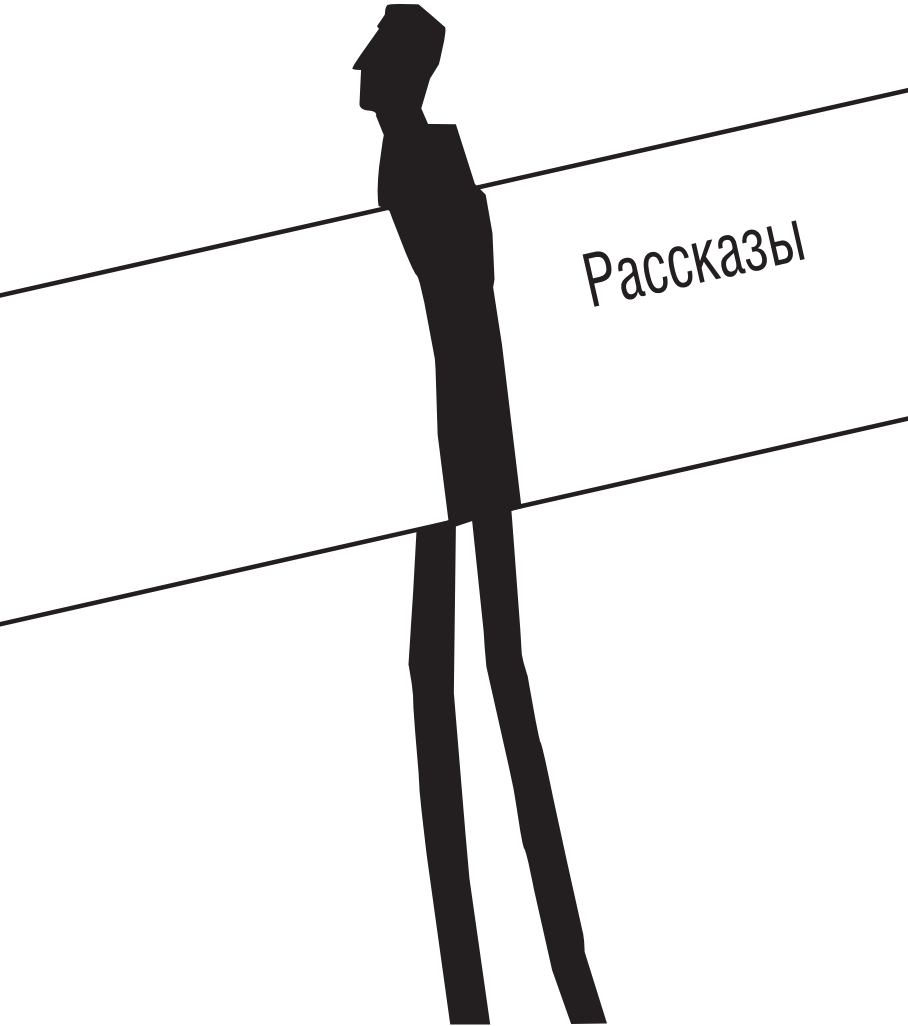
Книга известного петербургского прозаика составлена из рассказов и эссе разных лет. Многие из публикуемых текстов печатались в известных русских журналах, таких, как петербургские «НЕВА» и «ЗВЕЗДА», рижский «РОДНИК», парижский «КОНТИНЕНТ». Некоторые публикуются впервые. Несколько рассказов были переведены на европейские языки.

Помещенные в сборник эссе и новеллы отличает острый лиризм и глубина «мыслительной пахоты». Они стоят того, чтобы любители чтения с ними ознакомились.

Автор хочет выразить благодарность Юрию Ходькову и Евгению Шевченко за неоценимую помощь при подготовке книги к печати.

Портрет работы А. Мильковицкого
Редактор Е. Волковыский

© Е. Звягин, 2011
© Художник А. Клопов
© Юолукка, 2011
ISBN 978-5-904699-07-9


Рассказы

# БЕСТОЛКОВЫЕ ПОХОРОНЫ

... разве он не умирает?
*Шекспир. «Венецианский купец»*

Сначала раздался высокий, как бы скрипичный звук, и вместе с ним что-то забрезжило, вроде овального серенького пятна с размытыми краями, и, отвердевая, стал перед открытыми глазами кусок окна, лия в комнату, в подключившийся и осознавший зрачок белесый полузимний свет. В комнату заглянула мать, я узнал, что это она, по заскрипевшей двери – уже второй год, с тех пор, как я женат, не могу приучить её стучаться перед тем, как войти – и чтоб увидеть её, не поворачивая головы – всклокоченные, нерасчёсанные со сна волосы, и добрый, слегка безумный, если смотреть подолее, взгляд ее глаз, я скосил глаза на зеркало, висевшее напротив кровати, но ровное матовое пространство было мне ответом – третий день зеркало было завешено.

– Вставай, – сказала она тихо, – и мягким комом навалилась на сердце смутная и тягостная обязанность сегодняшних похорон.

В соседней комнате уже встали – тётка, родная сестра моей матери, и бабушка, их мать, уже третий день ночевали у нас, и оттуда слышался старческий шелест, стародевичья суета, негромкий истерический шепот.

– Рахиль? Когда же придет такси? – говорила бабушка. – Ты уже заказала?

– Успокойся, мама, – отвечала моя тетка, – машину еще вчера вызвали!

– Осаф! – поворачивала щуплая бабуся глаза с дивана,

и сочетание гласных «оа» в его имени звучало в ее устах особенно скорбно, – это правда, машина скоро придет?

И уже срывающийся с места, с извечною раздражительною гримасой, и полудрожа толкающий руку в рукав пиджака отец мой (не выдержал – «курицы» и «дуры»), – отвечал из прихожей:

– Я поеду вперед, в больницу водников, посмотрю, чтобы все было в порядке!

И я видел его иссосанное ленинградской блокадой лицо за окном автобуса, с извечным надломом, очерченное столь сухою иглой тоски, и безнадежности, и злобы, что даже я, всему свидетель и генетический преемственник, рухнул бы, и не выдержал, и сам бы умер, распался – покатилась бы моя голова, и руки бы вывинтились из суставов, и кровяною жижей разверзся пах, если бы мне пришлось носить в себе ежесекундно и переживать такое.

– Миша, – сказала мне бабушка, – позвони насчет машины!

– Не беспокойтесь, бабушка, – отвечал я, растирая слегка саднящее после бритья, румяное, не в зеркале, потому что завешено, а так, на ощупь, лицо, – скоро она придет.

– Ты знаешь? – говорила она с укоризной, и я уже насупливал брови, и Рахиль, хорошо знакомая с нашей фамильною нетерпимостью, уже боясь резких слов и скандала, столь непристойного и столь возможного в этот день, – говорила – успокойся, мама, – но тут зазвенел телефон и женский голос с жестяным привкусом вопрошал мое ухо: «Машину заказывали?»

Я вышел на улицу встречать такси. Погода была неординарная: снег, выпавший осенью, то есть – неесте-

ственная, лживая и хрупкая белизна, почти прозрачная от переменчивой теплоты и черноты, подпиравшей ее, – в чисто ленинградском неустойчивом стиле.

Бабушка и Рахиль бежали когда-то куда-то в «эвакуацию» из Житомира, и почему-то на корабле, и стояла страшная толкотня и давка, и визжали и рвались рядом с житомирским портом смертельные антисемитские бомбы, и их растащили в толпе, но они как-то дотянулись друг до друга и с тех пор не разнимали рук – и это проявлялось в холодной методичности, с которой бабушка отваживала провинциальных мослатых и представительных женихов от дочери, и в робости и индифферентности дочери на этот счет, и в том, что каждый каприз этой выжившей из ума, но холодной и расчетливой фурии она выполняла беспрекословно.

В машине мы с теткою переругались. Я пробовал объяснить шоферу, как быстрее доехать, а она мешалась в беседу – мол, ему лучше знать, – как бы подлизываясь к нему, долгим поруганным опытом боясь нарваться на грубость, и потому – заискивая, и меня взбесил ее этот испуганный тон, я сказал: «Замолчи, не мешай!»

Но вдруг и она окрысилась, и когда мы приехали, то оказалось, что я был неправ, потому что в этом месте не было левого поворота, так что надо было от Калинкина моста вдоль Фонтанки сотню метров пройти пешком.

Под аккомпанемент обвинений и причитаний я шел к пурпурно-оштукатуренной стенке больницы, где у подворотни столпилась уже стайка близких и дальних родственников. Сквозь длинный больничный, с продрогшими черными шпицами деревьев двор мы все, – и хромая, толстущая тетя Соня – не покойница, но ее тезка – с оплыв-

шим, многоступенчатым от жира лицом, и ее седенький муж, и моя мама, его сестра, и Рахиль, и седая востролицая мать их, и я, и дочь покойной, и еще кто-то – кажется, это была моя красивая двоюродная сестра в собачьей шубе, – прошли туда, где за линялой и облупленной дверью лежала покойница.

Покойницкая – это комната. И несмотря на карболовый запах, хрустящие восковые венки и обилие неживых, вернее живых, но мертвенно-бледных от прохлады цветов, – сама акустика в ней и буднично заклеенное белою лентой окно, и сор по углам – придавали ей уютный вид.

В центре стоял красный гроб. Из-за чьей-то спины, обойдя ее, я увидел лицо умершей, и удивился, насколько простое и благородно-безразличное выражение его отмечает, и некий покой сошел мне на душу, какое-то уверенное и даже благостное, я бы сказал, чувство.

Она умерла от удушья, но это не оставило гримасы страдания на ее лице – на мучительном этом поединке с небытием, который зовется смертью, оно не настаивало, и рыданий совокупных не провоцировало – я удивился той тихой, не вопящей, но до дна души оплакивающей скорби, с которой приняли ее в свою чреду и как бы раскачивали на руках сострадания и горя эти старые женщины, и моя мать, и старухи.

Бесконечно тронутый, я вышел оттуда и увидел, что идет уже легкий снег, и, завернув за угол, закурил, и стал расхаживать вдоль пожухлой стены больничного пакгауза, следя за сонмом летящих с небес белых мух, удивляясь, что даже это незамысловатое, каждодневное – снег – может смотреться в иных обстоятельствах – трагедийной завесою, отделяющей причитания хора от появления вестника.

Подъехал востроносый, неприятно-бежевый с черною лентой автобус, и деловитый шофер в белой безобразной вязаной шапочке с козырьком спрыгнул с подножки и ушел за дверь. Я понял, что сейчас понадобится моя помощь, и последовал за ним. Он, видимо, уже сказал, что надо, моему отцу, и тут же вышел, и я, повернувшись, услыхал: «Ах, чего-то она еще не доделала ...» И чуть позже: «А ведь она так хотела жить!» – громко вздыхала какая-то незнакомая женщина, кажется, соседка умершей. И настолько нелепым было это нарочитое расчесывание не своих даже, но чужих сердечных ран, что я чуть было не прыснул, и, сохраняя приличие, должен был незаметно выскользнуть из комнаты – вероятно для того, чтобы нос к носу столкнуться с зятем покойной – веселым краснощеким человеком, который уже распоряжался там за дверью: «Пора, пора! – пионерским рожком, добрым утром звенел его голос в тишине морга. – Машина ждет! Труба зовет!»

Все вышли и тогда: «Да это, никак, Миша», – раздалось за моей спиной, и я увидел старшего брата моей матери, отца той самой красивой двоюродной сестры, и улыбаясь протянул ему руку. Но тут же услышал шипящее сбоку: «Не здороваться сюда пришли, но прощаться!» – и его лицо – лицо мрачного местечкового Гамлета, засыпанного во время бомбежки, или собственною жаждою чего-то невозможного с ним, но безумно привлекательного, собственною нелепою мечтою заваленного человека, дернулось у меня перед глазами и чтобы куда-то деть руки, оскверненные приветствием и здоровьем, я взял молоток и, невесть как очутившись рядом с груженым гробом, стал прилежно его заколачивать.

Ехали долго. Зять задохшейся женщины, видимо, для удобства, решил похоронить ее рядом со своими родителями, чтоб не слоняться по разным кладбищам, подновлять ограды и сдувать пыль с венков, – и повез ее далеко за Ленинград, в Павловск, где они, волею судеб, были похоронены.

И когда толпа пожилых некрасивых людей сгрудилась у ворот кладбища, я увидел: навстречу им шагали трое молодых румяных парней – длинноволосые, разнокалиберно одетые, кто в кирзовых сапогах и немыслимо модных куртках, кто в ватнике защитного цвета и ярко-лаковых кожаных ботинках с медными пряжками, – они напоминали какую-то невозможную битловую группу, каких сейчас много – каких-нибудь «удальцов», «дервишей» или «пришельцев», но пришельцами, совершающими непонятный им, даже, вероятно, юмористический хадж, были здесь мы. И, подбежав к ним, отец мой и развеселый радужный зять, стали им что-то доказывать и показывать, а они молчали, продолжительно улыбаясь напряженной, слегка хмельною улыбкой.

Я нес гроб к могиле, но думал о другом: о женщине, чье лицо вдруг бросилось мне в глаза, – раскрашенное наподобие нелепой гротескной маски, где условно, мелом и сурьмою написано было «красота». Она – сестра моего отца, была когда-то и впрямь молодою и зажигательной, и ее полюбил самый «мировой» парень нашего двора, лихой аккордеонист и завклубом в зеленогорском санатории, Володя Матросин и, поматросив с нею лет пятнадцать и наделив взрослою дочерью, оставил и ушел к другой, но она напряглась и в безумном борении, доведя свою дочь почти до петли, а себя до неизлечимой сердечной болез-

ни, заставила его вернуться, но навсегда ее лицо обрело с тех пор жалкий размалеванный облик оставленной Пенелопы.

Но вот уже гроб раскорячился красными торцами на козлах над могилой, и молодые могильщики, суетясь, приготавливали какие-то жерди и веревки, нужные им в деле, и тут возникла заминка, очень недолгая – открывать ли гроб, но зять покойной, закурив и облапив свою жену, дочь умершей, протрубил, напрягшись и краснея, как бас-геликон: «Вперед, сыпьте ее туда!» И вот я уже держусь за какой-то ремень, и со стуком опускаю гроб в яму.

Долго стояли мы, дрогли, глядя, как разгоряченные вином и работой хипстеры танцевали с лопатами над могилой, и я, отвлекшись, глядел и никак не мог привести в соответствие две соседские надгробные надписи: «Изе Соломоновне Лейбиной. Скорбящие муж и сын». «Марку Петровичу Лейбину. Скорбящие сын и жена». Поскольку даты стояли на надгробиях разные, то получалось, что то ли жена, то ли муж скорбели друг о друге из дальней стороны смерти.

Могилу засыпали. И тогда около холма, держась рукою за чужую ограду, возникла бабушка и запричитала над засыпанной дочерью на непонятном мне языке, и хоть она, усопшая, умерла от удушья, не о том был надгробный бабушкин плач, ибо единственное слово, мною понятое, было словцо «идене» – «еврейка» и бабушка среди снега была страшна – сухонькая, дрожащая, ориентальная ...

Мой отец подошел к ней, чтоб увести, но с дергающимся лицом бросился к нему странный субъект, тот самый полузаваленный местечковый герой, мой родной дядя, отвлекая его от старухи, – пусть говорит, не мешай!

И глядя на них, столь похожих, но уже не совсем и людей, на двух старых, больных, измолотых жизнью мужчин, я внутренно гаркнул: «Ты, кто есть Бог или Некто, хоть и с малейшим оттенком личной воли, – что ты соделал с ними в неумолимом и страшном течении своих законов? И зачем плеснул едкою щелочью их бытия в мою душу?»

*1973*

# ЗДЕСЬ, НА СИНОПСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

*Посвящаю Надежде*

Виною всему тот старый дом. Однажды припомнился, и мысль вьется, вьется...

Живу я отсюда неблизко – там, за рекой. Вы, наверное, были в родных моих палестинах: торчит здесь из торфа жилье типовой стройки. И такая тут царствует пыльно-туманная, затрапезная скука... Хилые, не нужные торфяной почве подлески, почти лишенные листьев, между зданий, натяпанных там и сям с мнимой случайностью, меж асфальтовых гладко-мутных полей смотрятся кустиками вчерашней щетины на скверно выбритых щеках жилмассива. И всякая, пусть даже безвкусная, выдумка старосветского архитектора, по сравнению с этим убогим однообразием, кажется теплой, живой, едва ль, потому, не изысканной.

И, проезжая, что ни день, через мост, на работу или обратно, в гости или от гостей, в кино, подхалтурить, лечиться или кого-нибудь хоронить, я невольно бросал свой досужий, а иногда напряженный физически, ибо в переполненном автобусе много народу на плечах у меня висело, но всегда с удовольствием цепляющийся взгляд на ряд неказистых трех-четырехэтажных строений, пусть похожих одно на другое, но уж совсем не безликих.

Набережная. Далековато ей до Дворцовой, или Английской, с их помпезным, торжественным олимпийством, стародворянским снобизмом, крепостнической спесью. Ни львов сторожевых, ни аканфовым листом отделанных

капителей. Но – ничего себе домики, с плосковатыми, двускатными кое-где крышами, серой облупившейся штукатуркой, а не то и с балконом, не очень, конечно, богатым; впрочем, и здесь когда-то блестел начищенный до немыслимого сверкания самовар. Мещанская, купецкая сторона! Любили, ленивцы, в холодке почаевничать...

Ясность пейзажа мутит одна немалосущественная деталь. На переднем плане торчит церковь без купола, а к ней лепятся еще домики, к реке задами, и черт знает куда передом. Вороны и чайки облетают сию бесформенную термитную кучу; их отпугивают дым да цементная пыль, вьющиеся и над самой церковью, и над обставшими ее хибарами, принадлежавшими некогда, по принципу местничества, наиболее рачительным и богатым из ее бывых, так сказать, прихожан. Обнесенный забором, обращенный в завод квартaлец производит, признаюсь, весьма скабрезное впечатление. А еще бежит вдоль реки провинциальная железнодорожная ветка. Потому, что там, за домами, преогромная теплоэлектростанция с чадящими, чуть не километровой длины, трубами. Туда возят из-за Обводного уголек. Перегукиваются тепловозы и теплоходы: г-у-у! г-у-у! Звук такой тесный, томительный и витальный. В гуканье этом – тоска. По чему? По чему-то, кажется, стародавнему; по кяхтинскому, что ли, хорошему чаю? Бог весть...

Однажды в этих местах я чуть не повисел на ноже. Дело было, скорее, к вечеру. По какой, непонятно, причине забрел я в эти места. В то время я был любителем-пешеходом. Еще я от города по-настоящему не устал, и ходил, и ходил, жадно впивая паузы и ритмические мотивы его пейзажей. Червячок сенсорного голода меня до-

ставал, и, как умел, я его и замаривал. Гляжу – какая-то занюханная, запыленная церковь без куполочка, неподалеку – щеголеватое, из естественного камня, на века строенное заводоуправление – с резными финтифлюшками по фасаду, с большими «итальянскими» окнами. Достаточный человек его строил, это и в пыли, в запустенье угадывалось. Доска объявлений: требуются, требуются... Позевал я на все это дело, дальше пошел. На углу этой улочки и другой, пошире и посолидней, прилепилась маленькая часовня с дорийским портиком, рядом – открытая дверь, ведущая куда-то в низок. Никакой подписи над дверью нет, но пахнет оттуда теплом, а также простой государственной пищей. Повторю – уже вечерело. Болтался я в этих местах довольно давно, и понял, что проголодался. А народ так и снует – туда и сюда. Недолго раздумывая, и я спустился – буфет. Почему без вывески – непонятно, наверное, ее недавно разбили, или сняли, чтоб заменить, да так и оставили.

Торгуют здесь разварными сосисками, стенки кафелем выложены. Стульев нет, столы высокие, одноногие, для быстрейшего насыщения. И кругом, как водится, распивают. Во времена моего послевоенного детства такие места называли почему-то «Голубой Дунай». А если там потеплее, то и «Ташкент». Вообще, где тепло, «Ташкент» звали. И пословица была подходящая: «Лучше маленький Ташкент, чем большая пайка!» Не знаю. Сравнивать, по малолетству, не приходилось.

И только направился я к покрытой линолеумом стойке, в сторону продавщицы, чья пышная, рыжевато-белая от перекиси прическа эффектно смотрелась на фоне блестящего голубого кафеля, как меня кто-то грубо толкнул в

плечо. Я пошатнулся и, ясное дело, притормозил. Прямо в лицо мне смотрели наглые серенькие глаза, чуть дымные, осоловелые от не менее чем трехдневного, до отчаяния доводящего пьянства.

– Ну, ты, кент, отстегни полтинничек, понял? – с вызовом бросил он мне в лицо фразу, на девяносто девять процентов состоящую из винных паров. Он был неплохо одет: то ли пьет не всплошную, то ли поворовывает ночами, но некоторый особенный, блатной шик, знакомый моему бывалому глазу, отличал его одеяние. От приставаний блатных отделаться (ну, не всегда, конечно), в сущности, не так сложно. Обойти его, будто не заметив, и не реагируя на пущенную вслед обидную фразу. Или, приложив руку к сердцу, с деланным смирением произнести: «Вы уж извините, товарищ, но сегодня я на мели. В другой раз – пожалуйста!» И, приценившись к сосискам, быстро уйти. Трудно отделаться без всякого унижения, но, выдержав допустимый уровень, можно. Однако оголтелость этого типа я недооценил. Он был уже в таком состоянии, когда умри, но дай выпить. И кто-то из дружков его, наверное, стоял рядом, невольно подталкивая к куражу.

А я, дундук, решил сам с собою в «казаки-разбойники» поиграть. И фразочка подвернулась мне в пандан разговору, в той же тональности.

– Ты меня на «понял» не бери! – ответил я грубо. – Я тебя с детства запомнил, понял?

– Что-о-о? – возопил оппонент, рвя на себе пиджачок из искусственной замши. – Да ты, фраер, никак центровой? По фене ботаешь, или по мелочам?

Столь далеко мои лексические возможности не простирались, и, за неимением переводчика, я только лупал

глазами. Вспомнилось что-то из Розенбаума: «Я вас в упор не вижу... цы... цы... Я не сторонник этих мокрых дел...»

Ну, уж и вправду, я не был сторонником! Несколько растерявшись, молчал, и думал, за что бы тяжелое ухватиться, в случае, как, говорят, вынужденной самозащиты. А в руках моего оппонента заиграла красивая эдакая, с оттянутым носиком, лагерной работы финяра, близкое знакомство с которой (извините, мы не представлены) меня что-то не очень устраивало.

– Ткни фраера, Сивый! – загудел у меня над ухом чей-то густой простуженный бас. – Он, видать, из ученых, да ненаученный!..

Ой, Боже ж ты мой! И зарыдает моя родимая мама над вежливым трупом своего бесчастного сына, и завопит малолетняя дочь: «Тятя! Тятя!» И запоют надо мною постылые питерские снега, и затарахтит капель с одинокого могильного тополя, и только я, надежда европейской литературы... Впрочем, я, кажется, еще жив. Это даже странно и нелогично. Надо это дело расследовать. Ведь если вор достал на людях нож, он и пырнет обязательно. Какой-то обман, я так не играю!

...Спас меня некий вежливый, элегантно одетый субъект с тихим взглядом. Он, оказалось, встал между нами и, неторопливо достав из тяжелого портмоне три рубля, протянул Сивому.

– Торопись, а то скоро у нас закрывают! – негромко сказал он.

– Спасибо, Матвей Петрович! – прогудел у меня над ухом все тот же простуженный бас, носителя которого я, за волнением, не разглядел, так что он воспринимался как акустическая эманация того горячего блатаря. Когда

он уже выбирался по бетонным ступенькам на смеркавшееся уличное пространство, Матвей Петрович негромко послал ему вслед:

– Не забудь, за тобой должок!

– Все путем, дорогуша, за нами не заржавеет! – прогудел из-за двери все тот же низкий простуженный голос.

Аппетит у меня как-то сразу пропал, любопытство же – обострилось. Я нелепо торчал между столиков, почти что не замечая обращенных на меня иронических взглядов подвыпившей публики, глядя на своего спасителя, отошедшего к одинокому столику у окна и спокойно доедавшего свою порцию. Я счел уместным подойти и поблагодарить. Улыбаясь не совсем еще спокойной улыбкой, я сказал:

– Вообще-то вы хорошо поступили. С этой публикой шутки плохи – я, кажется, выбрал неверный тон...

Мой спаситель оставался совершенно спокоен. Меня удивлял его совсем негероический облик: гладко выбритые, с приятными ямочками щеки, карие симпатичные глаза, добротная, даже, пожалуй, щегольская одежда неброских тонов, в соответствии с возрастом.

– Ну, не стоит благодарности, – ответил он, слегка улыбаясь, – меня здесь уважают, соблюдая свой интерес. Вот и все!

– Кстати, за мной, вроде, должок. Заберите, я вас прошу!

– Нет, должен мне Сивый. И, можете не сомневаться, он возвратит.

– Тогда, может быть, раздавим бутылочку? Ради знакомства?

– Вообще-то у меня сегодня другие планы... Но, раз уж так получилось... Пойдемте.

Он повел меня мимо все тех же смурных подворотен, с полуутопленными кое-где гранитными тумбами. Вечерело. Два крепких, высоких, на просторе разросшихся тополя с пошкрябанною корой шелестели на фоне густеющей синевы, розовых облаков. От реки потягивало смешанным запахом мазута и тины. На другом берегу заводы сияли яростно-голубыми квадратами своих окон, подчеркивая, приближая подступавшую ночь. Смесь тепла и редких прохладных дуновений, столь свойственная ленинградскому лету, царила в тихом приречном воздухе. Где-то заплакал грудной младенец. Драная кошка, сидя у подвального окна, умывалась лапкой; увидев нас, она встала, выгнула спину и тоскливо мяукнула, глядя нам вслед. Пьяно понурив массивную голову, повесив на костыли свое обширное грузное тело, прошкандыбал мимо нас одноногий инвалид. Неуклюжие прыжки его пришлись на расчерченные мелом на асфальте детские «классы», потом он заехал в «котел» и куда-то сгинул.

Это не вполне понятное исчезновение и навело меня на темную мысль, что в округе не совсем чисто. В тихом омуте, знаете... Я искоса поглядел на своего спутника. Ну, что ж, вполне нормальный, средних лет гражданин, в охотничьей шляпе с фазаньим перышком. Видно, что вещь дефицитная, гэдээровского, кажется, производства; не скажешь, что странная, в определенных кругах, даже, вроде бы, модная. В общем, наверное, все в порядке. Впрочем, как знать?

Он привел меня к стеклянным дверям продуктового магазина. Чувствовалось, что это заведение существует здесь с давних пор. Там было немноголюдно; какая-то допотопная старушка, сильно набеленная, в потертой

велюровой шляпе с вуалью, глянула на нас с любопытством и тайным, казалось, неодобрением. Небрежно отмахнувшись от призывных возгласов из отделов, мой Вергилий провел меня в обширную, пряно пахнущую кладовую, где стоял его рабочий стол с телефоном.

– Подойдет? – спросил он, удовлетворенно усмехнувшись и широко поводя рукой. Я огляделся. Никогда до той встречи я не видел столь вопиющего съестного великолепия! На металлических, небрежно покрытых шаровой краскою стеллажах грудой лежали бугристые твердокопченые колбасы; большой соленый осетр, завернутый в пергаментную бумагу, свешивал с верхней полки свою острую снулую голову с подвяленными неживыми глазами; крупные сегменты швейцарского сыра «со слезой» соседствовали с нежно сияющей в электрическом свете зернистой икрой в открытом бочонке; банки с исландской сельдью, крабами; пестрые жестяные пагоды с индийским чаем; толстые вязкие пластины сушеных фиников; гроздья спелых бананов; французский коньяк; испанские и венгерские вина – все это мне, изрядно оголодавшему за день, показалось не в меру великолепным.

– Ну, как? – бросил он с деланным равнодушием, и вдруг что-то лисье промелькнуло в его обаятельной, немного пухлой физиономии. – Располагайтесь... И угощайтесь, берите, чего душа пожелает! Раз уж я вас, некоторым образом, выручил... Кстати, как вас зовут?

– Евгений! – отрекомендовался я, плотно усаживаясь на мягкий, просевший подо мною мешок афганского кишмиша. – Да... У вас тут ничего себе...

Ловко откупорив штоф «Георга IV», он разлил янтарную жидкость по граненым стаканам.

– Физкульт-привет! – провозгласил он.

– Прозит! – отвечал я ему в том же бодром бойцовском духе. Мы выпили. Потом повторили, заедая вкусное шотландское пойло иссиня-черными, жирными на ощупь греческими маслинами. Вскоре мне стало казаться, что зря я отпустил приставучего наглого блатаря, о чем я живо и заявил своему новоявленному знакомцу. Он не перечил, только посмеивался.

– Женюра! – говорил он мне шепотом. – Я сразу узнал в тебе родимую душу! Уже по тому, как глянул ты на сосиски, я уяснил – этот субъект умеет ценить простые радости жизни! У меня глаз-алмаз, и вся эта вшивая набережная у меня знаешь где? Видел старуху? Вдова известного дирижера, Ляхова по фамилии. А ко мне – с большим уважением. И даже, представь, с любовью! Вот, то-то и оно... Может, еще выпьем? Хочешь копченого языка?

Он, не вставая, сорвал с крюка и бросил прямо на дерматиновую поверхность стола красивую коричневую колобаху, ловко скусив по пути заостренный упругий кончик и жадно жуя.

– Жизнь – проста! – говорил он, глотая. – Выпить покрепче, заесть повкуснее, а хочешь – и девочек достанем! Женюра! Хочется девочку?

Несмотря на довольно быстрое опьянение, я рассудил: «Для чего ж он со мною так носится?» И мне, может, в силу хмельной подозрительности, стало казаться, что все, происходящее здесь, неслучайно, кем-то подстроено. Он же взглянул проницательно.

– Евгений! – сказал он, заговорщически улыбаясь. – У меня глаз-алмаз, я ж тебе говорил! Ну, в чем ты меня подозреваешь? В том, что имею на тебя какие-нибудь

нехорошие виды? А что ты мне можешь достать? Судя по всему, ничего. Ни-че-го-шень-ки! Так что – не думай! Просто, знаешь, бывает такая взаимная симпатия душ, радость неожиданного знакомства... Да ты не стесняйся: ешь, пей – все натуральное, без обмана! Ну, поехали!

Его гладко выбритое лицо слегка залоснилось от выпитого, губы чуть распустились, облик вообще несколько смазался, не теряя, с тем вместе, какого-то неистребимого обаяния.

– Однако ты – малый не дурак! Кое-что понимаешь! Так и я же с тобой – в открытую! Ну, вот – тебе, наверное, уже тридцать, если не больше! А кто ты? Праздношатающийся прохожий! Одет, извини, нешикарно, трешка твоя – единичная, я засек! Пора уж решать, как быть дальше! Вопрос, я подчеркиваю, – принципиальный! От него – не уйдешь! Либо-либо!

– А может, не будем митинговать, дружище? – ответил я по возможности равнодушно. – Как тебе кажется?

– Так точно, мил-человек! Я ж говорю – пей, закусывай! Но от вопроса тебе все равно не уйти! У меня к тебе конкретное предложение: тут мясник у нас загулял... Хочешь на его место? Соглашайся, я не обижу! А то надоело, понимаешь, с ворьем, а ты, братец, вижу, лишнего не возьмешь... Ну – решайся!

– Послушай, Петрович! – смело отвечал я. – Ты вот меня праздношатающимся обозвал. Это правда. Но что у меня за шатания? Брожу, впивая каждую вибрацию горизонта, каждое, самое, знаешь ли, тонкое изменение цвета! Я виж-жу и чуйствую! Я думаю, наконец! Да для меня эта старуха в шляпенке – не просто старуха, а персонаж антич-

ной трагедии! Да я... А тут мясо, мясо и мясо! Только-то и всего! Да я же не физиолог! Я в этом поэзии не увижу!

Тем временем коварный «Георг IV» сотворил со мной свое обычное, но довольно паскудное дело – я охмелел. Видел, как быстро шевелятся полные с лоском губы на чьем-то симпатичном лице. И, в некоторой прострации, лишь отрицательно качал головой. Потом услышал откуда-то сверху отчетливое: «Дур-рак!» Я с гордостью вскинул голову, стараясь удержать ее на нестойкой, гнущейся шее. Ага, возопил осетр! Глаза его были столь же слепыми и вялыми. Но пасть он снова стал разевать... «Дур-рак!»– с отчетливою издевкой снова возопил он. И тут меня прорвало. «Изыди, Князь мира сего! – гордо воскликнул я, воздев руки в сторону острой оскалившейся морды. – Нет моей доли в твоем хозяйстве!»

Следующей весною я посетил ту старую набережную. Я уже знал, что недавно церковь снесли. Перевели куда-то маленький цементно-штукатурный заводик, здесь размещавшийся, – бац, и на месте бывшего культового строения и облепивших его домишек – лишь невысокая груда старинного кирпича цвета свежей, еще не свернувшейся крови. Я наблюдал из окна автобуса, как копошатся там, в отдалении, словно плотоядные маленькие зверки, разные бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, словом – представители почти что одушевленной индустриальной фауны, и растаскивают эту теплую строительную убоину каждый в свою сторону. К следующему утру все было кончено. Ничего, кроме огромного рыжего пятна, не осталось, только пара мясистых, с обломанными кое-где сучьями, тополей выперла вдруг из горизонтального окоема. И еще завиде-

лась в перспективе встроенная без зазоров, прямо в угол какой-то улицы, маленькая часовня с дорическим портиком, принадлежащая, надо думать, той самой раскромсанной церкви, но, вопреки разорению, уцелевшая. Простой, но наглядный смысл этого превращения не прошел мимо моих внимательных глаз.

Теперь здесь вовсю кипела работа. На месте снесенного квартальца суетились садово-парковые рабочие, возводя огромный газон. У самой реки бухали по сваям чугунные бабы – строили новый гранитный парапет. Лед уже сошел с невских просторов, солнце пригрело, и оттуда тянуло слабым запахом мазута и тины, смешанным с чем-то весенним, свежайшим. Ясный небесный свет играл на недавно окрашенных фасадах невысоких домов. Новые, шершаво-глянцевитые тротуары были уже исчерчены мелом. Из дворов доносились гулкие, как бы пушечные, удары – хозяйки выколачивали ковры. Не торопясь, шагал я вдоль стен и чужих свежевымытых окон, кое-где уже приоткрытых. Оттуда свешивались комнатные цветы и веселые песьи морды, гирлянды сохнущей соленой рыбешки; в одном из окон странно торчал бамбуковый спиннинг. «Жизнь не-ваз-мож-на па-вер-нуть назад!» пела с особенным торжеством известная наша певица.

И вдруг – глаз мой уткнулся в слепые заплоты других окон. Это были забитые ржавой жестью окна того самого волшебного гастронома. Выше – обугленные рамы, взметнувшиеся языки копоти на стенах дома. Кто-то, какой-то местный мудрец-юморист, вывел мелом на почерневшей стене: «Так проходит земная слава».

Потом я заметил, что дверь парадной полуоткрыта. Оттуда тянуло сырым плесенным запахом. Преодолев неко-

торое внутреннее сопротивление, я вошел в глубину здания. Тленная вонь брошенного жилья заметно усилилась. Всюду валялись какие-то оставленные бумаги, ломаные полки, рамки из-под фотографий, усиженные клопами багеты, старая обувь. Обычные признаки дома, ушедшего на капитальный ремонт. Потом обнажились следы пожара. Сгоревшие деревянные стены. Обрушенные перекрытия. Власть черных дыр.

По уцелевшей парадной лестнице я забрался на самый верх. В пустых оконных проемах бодро блестела майская, радужная Нева.

Я засмотрелся. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стоял Сивый, тот самый опасный молодой человек. Господи, в каком виде! Глаза его слезились, руки дрожали, одежда была грязна и изорвана. Судя по всему, он и жил здесь, в покинутом всеми человеческом обиталище. Вид у него был теперь совсем не воинственный, напротив, ужасно робкий. Сивый меня не узнал.

– Дяденька, дай двадцать копеек на пиво, опохмелиться, – дрожащим голосом попросил он. Вид у него был такой: ткни пальцем – и опрокинется. Сила была на моей стороне, но я не стал поминать зла. Я гордо вытащил из кармана свой (единственный) рубль – и протянул Сивому.

*1983*

# БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ

Цикл коротких рассказов

## БЕЗ НАЗВАНИЯ

***Посвящается П. Беспрозванной***

Никакого Сергеева никогда в жизни не было. Это не он слизывал шершавым своим языком с верхней губы некую солнечную муть, не он пробегал по весеннему граду по направлению, через парк, в виду и на шпиль все той же единственной своей Петропавловки, где дощатым забором огороженное место было украшено правильной надписью, мол: «заколочено».

И, может быть, потому, что его не было, а вернее всего, потому, что он понял, что его-то, собственно, никогда и не было, и не только не было, но и не будет вовеки, потому что он, собственно говоря, извините, – досужая выдумка, он загрустил, разнюнился, полез правой рукой в весенний, слегка прохладный карман своего пальто и наскреб пол-ладони мелочи вперемешку с просыпанным табаком, разным мелким свалявшимся сором и прочей чушью, оставляемой самим, как говорится, органическим процессом жизни, жизни печальной и долгой, даже если не бывшей.

Ну, так вот. Навстречу ему шагали все люди значительные: вот хоть два серьезных таких шахматиста, колотившие друг друга шахматными досками по головам; от одной из них отстал лоскут фанерки и, кружась, опустился к ногам Сергеева. Седой волосок прилепился к этому

лоскутку, посверкивал среди свежего гравия парковой дорожки, потому как дело-то было, собственно, в парке, в чем не признаться было бы нелепицей, даже более того – недостойным умолчанием со стороны автора

«От одной из них» – значило – от доски отделился, – хоть, признаться, и от лохматой головы любителя-шахматиста, пенсионера и забияки – говорил уже – волосок, да какое все это имеет значение?

Никакого. В том-то, мастера, и трагичность жизни, что реальные детали ее, сколь настойчиво о них ни талдычь – слепая иллюзия, и даже вот факты средней величины – всего лишь сор на этой горжетке – ну, словом, один резон, если не сказать хуже, – пропил ли Сергеев свою мелочь на пиве, или отдал ее мимо шедшей нищенке, или сознательно разбросал по аллеям парка, во что как вам, так и мне трудно поверить; сей факт, будучи представлен как достоверная деталь, мог бы служить канвой уже не реального, но авангардного рассказа; но мы, в наш атомный век, всплошную все реалисты: любим мы подмечать янтарную струйку смолы на желтой доске, с красиво так нарисованной буквой «Н» – малой корпускулой вполне вещественного понятия – мол: «ЗАКОЛОЧЕНО».

Дерущиеся шахматисты галдели. Удивляло Сергеева, как не просыплются у них шахматы из досок, как не украсят свежий долбленый гравий грудкой символов: царь, царевич, король, королевич, конь, ладья, офицер или ферзь – черт его знает, не в этом дело, милостивые мои государи, извините за старомодное выражение.

А дело все в том (вернемся к навязчивой вашей идее), что Сергеева вовсе не было. Не было его ни в абсолютном, ни в относительном смысле, ни фигурально выражаясь,

ни буквально привирая – никак. И оттого, что он краешком мысли коснулся этого печального факта, он не пошел в роскошную крепость, – ибо тюрьма, превращенная в музей, стала ему вдруг глубоко отвратительна.

И, сверившись с направлением легоньких облаков, субтильно-розовых с тонкого краю, он свернул на Петровскую набережную. Здесь повевало прохладным таким ветерком – да, совсем я забыл упомянуть – шел уже второй ледоход – с Ладоги лед согнало – несмотря на разнообразные шумы и посвисты города – тонкий звон – если прислушаться – тонкие звоночки тающих льдин бередили сейчас каждое непредубежденное ухо.

И Сергееву вдруг стало грустно. Да ему и не было весело, нет – поверьте, ну, а тут уж настолько грустно ему стало, что он присел между голых древесных стволов; скульптурное изображение давно почившего государя прибавило к его дикой тоске привкус уже императорский, ну, да что же я заливаю вам, питерским старожилам, сами все знаете.

И тогда он сказал своей душе – молчи, шлюха, – и от грубого этого словца поперхнулся и закурил, тупо созерцая слепое приречное пространство...

Грянул тяжелый гром – то ли пушка на бастионе отметила полдень, то ли лопнула почка ближайшего к нему деревца, – кажется, это был тополь.

*1977*

# ТОЧИЛЬЩИК

Главное свойство моей души – ненависть. Я ненавижу заплеванные цоколи домов (оближи – узнаешь, какие они на вкус), ненавижу деревья в корявых наростах старости, ненавижу ноздреватый, посыпанный солью наст. Когда я гляжу из окна на жирные тельца городских сизарей, мне хочется трахнуть себя молотком по щиколотке.

Но все это так – прелюдия сердца. Другое сводит меня с ума – его регулярные появления. О, если б не он – я мог бы считать свою жизнь вполне благоустроенной, себя – одиноким и всем довольным удачником.

Он приходит сюда раз в неделю. Располагается у дверей продуктового магазина – тяжело опускает на землю свой аппарат, надевает жесткий брезентовый фартук.

Я смотрю на него исступленно, не отрываясь. Когда по улице проходят троллейбусы, валко покачивая боками, – я стучу кулаками по подоконнику, или пытаюсь что-то смахнуть с лица, или разражаюсь неистовым плачем. Потому что они мешают мне смотреть.

Однажды разогнавшийся троллейбус повело в сторону (был гололед, холодно блестела под синим небом наледь на мостовой), и с него слетела гибкая тростинка троллея. Он стал прямо у моих окон, загородив противоположную сторону улицы. Заулыбались досужие пассажиры. Трудно описать, что я испытывал в эти страшные четыре минуты, когда водитель, медлительная скотина, лениво отковыривал приставшую к губе сигаретку, затаптывал ее в грязный снег у поребрика, отвязывал толстую веревку от лесенки на корме катафалка.

Я, задыхаясь, отдернул форточку. И сразу же стало легче – пронзительный, радостный визг наждачного круга о железо донесся до моего слуха. Значит, он еще здесь, мой голубчик.

Иногда я спрашиваю себя: за что, собственно? Впрочем, лишь в редкие минуты утренней слабости, когда и пальцы-то не сожмешь как следует. Стоит мне взглянуть на листок отрывного календаря (ага, уже два дня осталось) или на часы (время подходящее), как меня начинает бить в торжественном и неизбывном ознобе. И наконец – о радость! – он появляется, согбенный под тяжестью своего аппарата. Водрузив его напротив витрины, скрывается за дверью продуктового магазина. Вскоре он выйдет, нагруженный колбасными ножами, мясницкими топорами. Я усаживаюсь на стуле поудобнее, иногда со стаканом крепкого сладкого чая, и смотрю, смотрю...

По улице снует редкий прохожий люд. Равнодушные, даже головы не поднимут. Иногда визг наждачного круга царапнет их невпечатлительный слух, обернутся... Жалкие! Взгляните на лицо! Сколько сладострастия таит этот масленый блин, весь в ямочках и лоснящихся утолщениях, когда он, ритмически покачиваясь, насилует своего рогастого дружка! Весь замирая, гляжу на это кощунственное соитие.

Рано смеркается. Ненавижу я сумерки! Мягкая пелена окутывает зрительные рецепторы, взгляд беспомощно вязнет в ультрамариновой массе. До боли в глазах напрягаю зрение. Подчас ничего уже не разглядишь, только темный силуэт на фоне ярко освещенной витрины, да праздничные снопы искр из-под наждачного круга, да легкие багровые отсветы на жирном лице точильщика.

Случилось так, что я заболел. Меня увезли в больницу, долго мучили процедурами. Как я ни рвался оттуда, выпустили только через полтора месяца. Как раз в подходящий день – в среду. С негодованием глядел я на медсестру, которая неторопливо собирала в чулане мои вещи. Времени до его появления оставалось совсем немного. На последние деньги я взял такси. Прибыл вовремя. Точильщика на месте не оказалось.

Проклиная себя, все шесть поколений своих узкогрудых предков, хилое тело свое, я предался жаркому сонму воспоминаний. Ведь он определенно меня замечал! Как придет, глянет в мою сторону с гнусной ухмылочкой. То-то радость! В больнице, где мое чувство несколько поутихло, я старался сберечь его тем, что вспоминал любимые привычки этого человека: зажав ноздрю пальцем, выдувать из другой сочную соплю, пробовать наточенную секиру ногтем, колупать болячку в углу небольшого рта. А теперь – его не было!

Всю неделю проскучал я у окна. Что было мне делать? Презирать прохожих? Ненавидеть птиц поднебесных? Пошло. Пошло и глупо.

И вдруг он появился. Расположился перед витриной. Задрав голову, стал смотреть в мою сторону, увидев, панибратски мне помахал.

Этот жест все и решил. Взяв самый длинный из своих кухонных ножей, дрожа, как в лихорадке, я кинулся вниз по лестнице. Едва не попав под хлебный фургон, перебежал улицу. С несказуемым наслаждением впивал я раздувшимися ноздрями его запах – запах прокисшего пива.

– Наточи нож, точильщик! – сказал я ему, изо всех сил стараясь придать тону своего голоса мнимое равнодушие.

Тупица! Он не почувствовал скрытой угрозы в моих словах. И вот я стою перед ним, дрожа от нетерпения, и неотрывно гляжу на лезвие ножа, на котором укрепилась и сверкает, все разрастаясь, широкая зеркальная полоса.

*1976*

## БЛУЖДАЮЩИЕ ОГНИ

***Посвящается И. Иванову***

Вы когда-нибудь видели прыщавого горбуна? Перекособоченную станину венчала продолговатая ступа, украшенная длинным осклизлым носом; щеки усеяны словно мелкой малиновой ягодой. В последние годы он все чаще возникал в нашем унылом повествовании.

Мистер Икс (назовем его так, если не возражаете) работал по уборке мусоропроводов. Всякое попадалось ему среди отбросов городской жизни: использованные презервативы и редчайшие инкунабулы, стоптанные ботинки и алмазные перстни белого золота; однажды, кроша о трубу обросший ракушкой киль, скребя по железу верхушками острых мачт, ухнул прямо в мешок ему маленький Летучий Голландец. Сквозь дырку в мешке он заглянул внутрь: синее неровное пламя на концах мачт напомнило ему газовые запальники кочегарки, где он работал в прежнем своем появлении.

Он отнес кораблик домой и поставил у изголовья

кровати; кораблик служил ему ночником. А как в гости к нему никто не захаживал, то и разговора об этом не было.

Но уж весна, пасмурная погода, миазмы, дым... В стоянии луж среди тающего пространства, под белым небом виделось ему что-то не то, что-то постыдное, что-то бесштанное; он поднимал взгляд и сквозь полуоткрытую дверь мусоропроводного отсека видел одетую десятиклассницу с матовым налетом на губах.

Она, не заметив мистера Икса, отошла к обочине и, повернувшись к нему спиною, стала перевязывать шнурки на ботинках, а он впивался в заголившиеся пышные ее ноги зубами своих гляделок и не мог оторваться, пока сверху, с каких-то неверных высот ухающей трубы не упала и не разбилась, обдав его брюки до пояса, стеклянная реторта с какою-то мутною липкой жидкостью.

А еще он не мог равнодушно смотреть на богато одетых баб. Когда он, неровно ступая рубчатыми копытами в расхлябанный снег, влачился от одного мусоропровода к другому, укрепив на горбу пригибающий долу мешок, то, однако, средь голых кустов и деревьев являлось ему раскормленное видение. Тонкою эластичною замшей обтянуты его элероны; мягкие, но сильные шасси расперли джинсовую ткань; пушистая песцовая шапка венчает чуть приплюснутую смазливую верхотуру. Как далека казалась она ему, как безнадежно желанна! Никогда не взобраться ему на сей человеческий Эверест! Постепенное появление нескольких Эверестов при-

водило его в смятение; он забрасывал свой мешок в ближайшую щель и влекся домой, в свою конуру, туда, где блуждали по комнате, погруженной в весеннюю полумглу, призрачные огоньки святого Эльма.

Придя в исступление, он в клочья рвал и разбрасывал по комнате драгоценные тома Гуттенберга, дырявил рисунки Серова и Добужинского. Обессиленный, всхлипывал на своем жарком ложе.

Шли годы. И однажды, под конец рабочего дня, у одной из парадных он увидел Ее. Она сидела на капоте автомобиля, бесстыдно оголив маленькие прочные ножки. Розовый кипень платьица облекал ее субтильный крепенький стан; ручки, голые и такие трогательные, она протянула к нему, вслед за голубым, неподвижным, но нежным взглядом. А над ней улетало в лазурь двойное кольцо, исходя золотым и венчальным блеском.

Он огляделся. Вокруг никого не было. Достав из кармана бритву, он перерезал ленты, коими она была привязана к капоту машины, и, любовно прижав ее к груди под бушлатом, юркнул в ближайшую щель. Как во сне, слышал он по прошествии времени: свадебный гул голосов, выкрики – хулиганы! – молокососы! – рокот отъезжающих механизмов.

И вот – они вместе. Повесть о том, как она, поначалу закостенелая и холодная, постепенно начала оживать и любить, мы расскажем в другой раз. Упомянем только, что началось это одним из вечеров, когда мистер Икс протягивал к ней свои некрасивые длиннопалые руки с немою мольбой – и – дунул от

неплотно притворенного окна вешний ветер, тронулись в полутьме невещественные огоньки; призрачная улыбка коснулась ее сложенных бантиком губ...

С годами на страницах этой истории наш приятель будет появляться все реже, пока совсем не исчезнет... Что это нам даст, и чего мы лишимся, узнаем, когда доживем...

*1979*

## ВНУТРИ

***Посвящается С. Стратановскому***

Вот бывают, однако, такие вещи: как бы и не вполне существующие. Ну, скажем, пуговица у пиджака: пока не оторвалась, вроде и нет ее. Когда оторвется, тут-то и скажешь: «Была, а теперь йок, прореха образовалась, полы свисают...»

Или, ну, памятник Барклаю у Казанского. Каждый вам питерский скажет, что его как бы и нет, а возьми убери? Сразу весь кругозор исказится, захочется сей отрезок пространства как-нибудь застегнуть...

Но мы, существа простодушные и лояльные, не балуем объекты внешнего мира чересчур напряженным вниманием. Да оно и небезопасно – сами поймете, старательно все обдумав. А не поймете, так вот вам историйка в назидание.

Жил да был в нашем граде один несчастный поэт.

Вида он был совсем неказистого: худенький, невысокорослый. Издали глянешь – совсем ребенок. Разве что голова нормальных размеров, и формы, надо сказать, весьма благородной. И потому ли, или еще по каким сопутствующим причинам, ходил он всегда одинокий такой, невеселый. Детальнее трудно об этом высказаться, за неимением более точных данных, да и пойди разберись, отчего в глазах у поэта стоит тоска?

Жил он как раз недалеко от Казанского и частенько мимо прогуливался, иногда и сиживал в сквернике среди роз, опустив к земле свои прекрасные очи. Какие тут мысли его одолевали, сказать не берусь, что-то про «эпоху», или «эпохи», кажется, но это не точно, а так, на глазок, прикидочно, что ли...

Так-с. А однажды, в теплую летнюю пору, он шагал мимо памятника Барклаю, вдоль знаменитой кружной колоннады. И вдруг на потылице постамента он заметил скромную железную дверцу. Дверцу, вроде бы, небольшую, но, надо сказать, специфическую, и не только что специфическую, но и функциональную. Да, вот так, и никак иначе.

«В чем же сей дверцы предназначенье?» – тотчас подумал он. Потянул на себя маленькую холодную скобку, и дверца открылась. А за ней было темно и пусто. Тут он, недолго думая, втиснулся в полую темноту и, разобравшись в ее изгибах и разветвлениях, сообразил, что торчит он внутри бронзового служаки и повторяет его благородную позу. Надел, стало быть, на себя литого болвана, вроде пальто с капюшоном.

И так хорошо оказалось ему внутри, так премило... Много часов простоял он все в той же позе, даже соснул ненароком, и то ли металл экранировал, или что, но грустные мысли в его голову не залетали...

Так вот и повелось. Устав от своей многодумной жизни (вспомните, – «эпоха... эпохи...»), он забирался в полюбившуюся ему металлическую скорлупу и отдыхал. Иногда ему чудились битвы, хоругви, пробитые пулями неприятеля, императорские орлы на штандартах, яркие золотоголосые трубы... Все это освежало его перегруженную раздумьями голову.

И все бы шло как по маслу, если бы не такая несчастная заковыка: однажды эту дверцу заделали, заварили. Так, причем, аккуратно, что и следа не осталось.

Вопрос: был ли внутри искомый поэт? Очнулся ли он, замурованный, и бился ли в жестких объятиях бронзы, не имея даже возможности постучаться?

Или, придя к месту любимого уединенья и не найдя входа в него, поливал слезами бессильной обиды гранитный бесчувственный постамент?

*1981*

## МОНОЛОГИСТ

***Посвящается Евг. Кушнеру***

Скрип уключин или скрип качелей? Уключин,

качелей, уключин, качелей, качелей... Сквозь заклеенное окно, из-за высокого глухого забора французского консульства доносился явственный скрип качелей. Раньше он видел их с улицы, сквозь распахнутые ворота: пти-качели для пти-пацана. Птичье что-то во всем равномерном сюда, сквозь двойное стекло, поступлении звука: цвирк, цвирк... Звук летний, раскованный, но не гулькают голуби, не чирикают воробьи – зимою птицы молчат. Ходят ходики – тик, да и так; ох, и насмотрел же он их когда-то в комиссионке! Был при деньгах; оберточная бумага скрипела, обещая другой, неумолчный, двухтактный звук: мол, тик, мол, и так; но, конечно, звучат они по-особому, на свой лад, на свой тембр и ритм – да не вклеишь в строку магнитофонную ленту! Тут литература явственно уступает новейшим видам искусства.

Там, наверное, хорошенький негритенок с острова Мартиника, и ему надоело. Бросил качаться, скрипеть и слепил снежок. Поднял его над собой, посмотрел: посмотрим и мы. Похож на яркую фарфоровую статуэтку господина Кузнецова. Только ноздри слегка побелели от холода.

А душа, черт ее, бултыхается в стеклянной запаянной трубке. Ходила такая игрушка в начале века – бесенок в жидкой среде, «американский житель». Да, нечто ничтожное и весьма, вместе с тем, ощутимое. Душа, несомненно, монологиста, а не грустного детки в тесном консульском дворике.

Вышел: небо с утра утомленное, ни одной яркой щелочки – будто развесили над округою одеяло в бе-

лом измятом пододеяльнике. Легкие снежинки редки, они сухо веют в сторону сада. Сад неприступен, чопорно-молчалив – сущая нераскрашенная гравюра! Между черных стволов мелькает что-то гладкое и лоснистое – прямо каштан мускулистый – ага, то хромец прогуливает боксера! Тупорылый красавец нюхает снег; фыркает, лает, мелькает между стволами. Хозяин выронил поводок; наклонился, чтобы поднять, уронил опять же и палку; встал на колени в черном пальто; потерял шапку с головы, меховую; и, стоя пока на коленях, вперился взглядом в утомленное небо.

Да, тогда-то вот был при деньгах, а теперь – бессеребрян. Впрочем, что-то бренчит в холодном кармане, на чашку «двойного», наверное, хватит. И то хорошо; спалось, по правде, не больно успешно.

Да и то ведь сказать: успешность боевых человеческих отправлений – ну, сон там, пищеварение, отсутствие пелены в голове – как-то больше соответствует молодости; а где ее взять? Где ты, любезная, многолюбивая, голодно-демоничная? Нет тебя. Нетушки. Ну так что? А и ничего; уменьшение возможностей и посягательств происходит в монологисте как-то так сбалансированно, и жизнь, в ее общем-то качестве, хуже оттого не становится. Разве что для «американского жителя» – утомляет его постепенно сия безвозвратная карусель.

– А ты вааще помолчи, запаянный. Тебя не спросили, когда городок городили. Видишь, какой, нашими молитвами, вымахал? От латника, мимо ангела, до квадриги. Далековато; однако пропорции, как

ни глянь, высокоблагородные, а что далековато, так это – мощь. А что – против мощи? А ничего. Снег усилился.

Снег усилился, потеплело. Но не на душе – там все такая ж зябкая темь. Погодные условия оказывают чрезвычайное влияние на душу монологиста. Будучи по природе своей созерцателем, он весь проникается доминантою внешних сил, и тщательно культивируемая праздность фокусирует, как большущая линза, простые сигналы окружающего, которые для иного персонажа – лишь фон.

Запахи, например, перевесили. Из товарного окошка булочной, открытого для приема – аппетитный запах подгорелого хлеба. Оттуда же – бульканье смеха, громкий сценический шепот – чубатый парубок в белом фартуке охмуряет розоволикую продавщицу. Чуется острый огонек алкоголя. Над ними роняет реденький свет в полутьму голая груша электрической лампочки. Лязг отпираемого фургона. Снежинки тают на рыжей корочке каравая.

– Господи, – слышен явственный голос «американского жителя», – тоска-то какая зеленая! Снег зеленый?

– Зеленый, зеленый! – отвечает монологист. – Да мы не дальтоники ли? Нет, смеркается. Только что вышли на улицу, а свет уже меркнет. Как жить?

– А через не хочу, как жил господин Фаберже.

При чем тут Фаберже? Вспомнил бы еще пивного голову Синебрюхова! Тоже мне, эрудит!

Ну, Жуков с его табачком – какая, собственно,

разница? Тут они на одной доске! Каждый, кто пожил такими вот декабрями, знает, что есть «через не хочу»!

Шустова со Смирновым еще приплети! Или купца Холидея! Заняты были, шустрили по откупам, дело делали! Некогда было им тосковать!

Как это – «некогда»? А по праздникам?

Праздников в декабре не бывает. Сверься с календарем.

Тем-то и хуже. Тем-то и хуже...

Монологисту предстоит совершить немного будничных дел. Зайти на почту и в прачечную. Прекрасно; но прежде – кофе. Ах, кофе! Приборматывая, машинально о чем-то шепча, высыпали любовно намолотый порошок из сухого соснового ящичка, впитавшего в себя всю пыль и скорбь долгих лет, петербургских обстрелов, арестов и экзекуций. Хозяева иногда исчезали – кто на войну, кто на Колыму, а кто и – чинно и благородно – на Серафимовское. Приходили другие; снова скрипел поржавевший металлический ворот. Иногда, за неимением кофе, молол он и перец, и жмых – голодную городскую макуху – да, иногда. Потом-то дело наладилось – появился «эспрессо» – яркий никелированный агрегат; кофе он варит хороший, с пенкой, какого и Павлу Буре отведать не снилось – если, конечно, подавальщица не очень ворует. Напечаталось «поддавальщица». И то верно.

Так возвращается тема скрипа; действительно, хромец поднял палку и поводок, напялил на голову бобровую шапку (бобровую с сединой – дорожайшую!);

встал, покряхтывая, с колен; заскрипел протезом по плотному насту, ступая, все-таки, осторожно – неровен час... Собаченция обегала кругами, радуясь жизни.

Монологисту, меж тем, от холода захотелось пи-пи, но туалеты теперь, по преимуществу, платные; посещение оного сильно уменьшило бы шанс на вожделенную чашечку; воровато оглянувшись, он сиганул в ближайшую подворотню. Хорошо у забора, за гаражами – как дома у мамы. Никто тут не помешает – разве что случайный какой-нибудь конкурент. Но то – собрат по нужде, – такой не обидит.

А там – гранитные колонны шоколадного цвета обнесло матовым ангинным налетом – как столбики эскимо. Меж ними торгует гвоздиками некий лядащий фрукт в ватнике, с изжеванной папиросою не по зубам. Засаленный козырек «педерасточки» надвинут глубоко, до самых бровей. Гвоздики сияют из сумрачной глубины портика. Да-да, бывают такие шплинты, что воруют цветы на могилах. Противно об этом думать. Что вспомнилось?

Монологист не желает навести на читателя вселенскую скорбь. Напротив, ему, по-своему, хорошо; коль глянуть со стороны, то он даже на ветру разрумянился, глаза заблестели. Что значит высокое содержание кислорода в воздухе, пусть бы и сдобренном бензиновым перегаром. Ожил, заулыбался, за чьим-то окошком ребеночка высмотрел. Складный ребеночек – мягкие локончики до плеч, бархатная размахайка, плисовые шаровары, сафьяновые сапожки. Хоть бери да веди в фотографию Наппель-

баума. – Дивный, дивный ребеночек, это ваш? Нет, тетин. А… Ну, чудненько, чудненько… Глянь, птичка вылетит!

Вечереет. Ветреет. Зажегся фонарь, раскачиваемый ветром; скрипит на цепи под сводом одного исторического подъезда. «Американский житель», выныривая, говорит:

– Вниз, вдоль пандуса, проехаться не хотите ль? Здесь катки. Юноши, знаете, раскатали-с... Бодрая младость. Хи-хи. А вам-то, ей-ей, не мешало бы порасслабиться... Послушать бы, что ли, прелюдию из «Вампуки»...

Монологист отворачивается от ветра, поднимает воротник пальто; сморкается долго и обстоятельно. Хряет по посыпанному песком тротуару и бормочет про себя в такт шагам, бормочет бессвязно и неотчетливо:

– Ра-ра, почему умирать. Ра-ра, почему умирать.

Монологист толкает светлую, под лак, дверь недавно открывшегося заведения. Кофейня называется «Шоколадница».

*1989*

# ПСИХОСВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭРМИТАЖНЫХ ДВОРОВ

этюд-воспоминание

Осень. Подрабатываю в архиве. Подметаю вокруг него улицу. Напротив – знаменитый подъезд с атлантами. Левей, за высоким сквозным забором из кованых пик – долгий внутренний двор, узкий, всегда полутемный; лишь в дальнем стеклистом торце его взблескивает пространство еще не уснувшей к зиме реки.

Недавно прошел дождь. Яркие листья лежат на мокром асфальте, как золотые монеты на черном бархате. С непринужденностью завзятого ювелира сметаю их в жестяную копилку совка.

Помнится, лет семнадцать тому назад я занимался примерно тем же, только на другой стороне улицы. Золотые кусочки смальты блестели под карнизом противоположного дома в острых, бесплотных лучах осеннего солнца, высвечивая буквы: «Основан в 18...» Там шелестел на ветру старый высокий ясень в маленьком мглистом садике; у подножия дерева бледно-фиолетовым, немного коптящим светом горела чуть пожухшая от ночных холодов, но все еще яркая клумба осыпающихся флоксов. Несколько резных ясеневых листьев запутались в лаковых атлантовых ступнях; я их оттуда извлекал.

В хозяйственную часть Эрмитажа меня привел красивый молодой человек, Евгений, брат поэта и сын художника. Несколько визитов нанес я будущему начальству, но, согласно обряду, был отсылаем. Полагалось выказать определенную настойчивость. Евгений меня успо-

каивал – все, мол, будет в порядке. И действительно, все устроилось.

Начальница наша – человек, конечно, незаурядный. В прошлом – фронтовая связистка, член партии, она понимает, что к чему в этой жизни. Тем драгоценней тот факт, что ее благим попустительством расцвела в Команде хорошая, дружная, подлинно интеллектуальная жизнь. В истории русского искусства эта женщина сыграла роль, наверное, большую, чем какой-нибудь, скажем, Д. Ведь при Команде в разное время кормились, и не только в смысле материальном, многие поэты, художники и артисты. Да и просто порядком здесь было ребят одаренных и знающих. Бывало, влетает к нам в раздевалку кто-нибудь посланный из дирекции и вопрошает: «Нет ли у вас, ребятушки, человечка – письмишко на сербский перевести?» Тут же встает Борис, снимает ватник и рукавицы и говорит как ни в чем не бывало: «Что за письмо? Ну-ка, дайте! Сейчас обмозгуем...»

Да что там, все знают, что за допущение выставки художественных работ технических сотрудников Эрмитажа, просуществовавшей полтора дня, полетел с директорского поста заслуженный Артамонов. Вот и поклон его праху. Дело понятное – сам начинал поэтом. А на выставке дебютировал М. Шемякин – ныне художник везде известный.

Да-с, вот такие-то были шикарные времена. Времена начальства хорошего, портвейна дешевого, поллитрового... Чем не Золотой век?

Особенным, золотистым поскрипом встречали нас полы пустого дворца. Это было по четвергам, в выходной, не наш, но музейный, когда-то и шла основная внутренняя

работа. Старушка-сиделица в форменном черном халатике, оторванная от оживленной болтовни на французском со своею товаркой из смежного зальца, а, может, еще и по смольнинскому дортуару, предшествовала нашей нестройной группе, позванивая ключами. Гордою прямизною спины, истинно петербургскою дамскою спесью она, сама того и не ведая, нам давала понять: «Тише, пащенки, не галдите! Вы, все же, в месте важнецком, ведите себя с достоинством!» И не суть, что время сделало из нее старую коммунальную змейку, – что-то в ней было лихое, незабываемое!

Она отпирала дверь в назначенный зал. Первое, что бросалось в глаза – высокие створы окон, колокольно звенящие блестким лиственным светом. Окна выходили в Большой эрмитажный двор с его хозяйственными из пожухших досок постройками по периметру, какими-то вагончиками и низкими штабелями; доминировала старинная маленькая дубрава в середине двора. Весь сад стремился вперед, на простор Дворцовой, на обратный природный штурм сквозь ажурные запертые ворота, и предводителем этого зеленого войска, на миг развернувшимся во фланговую опасность, был поджарый и мускулистый «Лучник» Штробля...

А внутри зачастую встречали нас маленькие дворцовые чудеса. Однажды заводили часы с павлином. Звонить они уже не звонили, но – оживали. Что-то внутри них начинало стукать и жужжать, и павлин под ветвистым позолоченным деревом вдруг раскрывал хвост. Петух, приосанившись, беззвучно прокукарекал. Сова начала вращать своей страшноватою головой. Там, за стеклянным колпаком, совершалась забытая, до срока таящаяся, сокровен-

ная жизнь. Отдавало все это мороком, сном. Мы смотрели и слушали, не дыша.

Была еще в уютном беленьком зальце поющая люстра. Когда ее запускали, издавала она чистые тилинькающие звуки старинного менуэта. Легкие блики от ее хрустальных подвесок тихо покачивались на бледных стенах и потолке. Здесь, говорят, арестовали членов Временного правительства. Так и скрывались их солидные фрачные спины за дверью, в темноте коридора, сопровождаемые чистыми тилинькающими звуками...

Впрочем, торжественное настроение очень скоро нас оставляло. «Тяжело писал Делакруа!» – говорил я, подмигивая Гере и одновременно утирая пот со лба, после нелегкой подвески одного из особенно массивных шедевров. «Дикий народ, горцы!» – отвечал Герушка, и мы, не сговариваясь, шли курить в туалет. Поскольку он был чем-то вроде нашего бригадира, его примеру следовали и остальные.

Герушка (коего называю так не в силу особенной близости, а – так его все называли, потому что в Команде его любили) был, что называется, «круглая сирота». Знал послевоенное беспризорство. Стал сочинять стихи. Когда-то, чуть ли не в подростковом возрасте, я с ним по случаю выступал в одном техникуме. Что-то читал он про милиционера, как его Ельянов ни останавливал. «Он вовсе не хозяин ночи, а только поводырь ее». Ударным стихом его была «Карельская дудка».

Итак, мы шли курить. Коридором мимо двери в библиотеку. По бокам ее – тихий свет – Мастер зимних пейзажей. Томно было смотреть на давние чужие катки, заиневшие деревья, из-под которых доносились, казалось, белые далекие крики. Обернулся на шорох – Боже, вровень со

мной – уже настоящая, не призрачная зима. Лишь открой стеклянную дверь – и снимешь клок снега с узловатой ветки сакуры!

Висячий сад – переменчивое эрмитажное сердце, маленькая разноцветная карта, украшенная умолкнувшими навек голубятнями. Ты замкнут, словно тюремный дворик, куда деревья вывели на прогулку. Ты и весь привнесен изнутри строения – я сам подавал метлахскую плитку для твоих миниатюрных дорожек снизу, сквозь перекрытие, через люк. И все-таки ты живой, подвержен и зною, и градобитию, потому что верхушкой у тебя – небо. И проходя мимо тебя павильонным залом, маленький перевертыш, я любовался зацветающей сакурой, зеленым газонцем, а голуби вправду гулили, только они появились с воли – не изнутри.

Пришли курить в туалет. Для нас эти малопрестижные помещения, вернее их, так сказать, предбанники, были чем-то вроде гостиных комнат. Некоторые – пороскошней, с дубовыми лавками под лак, другие – рангом пониже. Здесь мы вели нескончаемые беседы об искусстве или политике, и тяжкого чувства эти беседы не оставляли, потому что не разразилась еще та идейная дифференциация, которая людей, в оное время близких и невраждебных, делает ныне чужими друг другу. Некое туманное, счастливое вольномыслие без, может быть, нравственно обусловленных, но очень уж грустных по своим личным следствиям, крайностей, царило в тогдашнюю эпоху. Очень уж был там неспертый для мыслей воздух...

А еще мы здесь пели и выпивали. Особенно нам полюбилась «гостиная» на Комендантском подъезде. На Комендантский толпу не пускали, это был регион хозяйственный, далекий, к тому же, от всех начальственных

кабинетов. Каждый из нас стремился поскорее занять свое место в одном из скрипучих фанерных кресел, связка которых стояла в предбаннике у окна, или на каменном подоконнике.

Солировал часто поэт О. О. Пел хорошо поставленным голосом, правда, с некоторым недостатком внутреннего слуха. Его ударной песней была «Лучинушка» (не «Лучина»).

Или ты, моя лучинушка,
В печи не была.
Или лютая свекровушка
Водой залила...

Мы, несколько подчас вином подогретые, и впрямь представляли Олега несчастной невесткой, и почти со слезами всматривались в горькие складки его гладкого, с отпечатком еще не вполне отошедшей юности, чуть-чуть девичьего лика. Это были для него годы подлинного лиризма, да и только ли для него одного?

Другой наш солист, прозаик В. А., обладал недюжинной сладости тенором. Это был, как и положено тенору, молодец довольно объемистый. Так его здесь и кликали – Вова-толстый. Впрочем, в те годы собственно толстым он не был, а был массивен и мускулист. Он предпочитал оперный репертуар. Особенно удавалась ему ария из «Жидовки»:

Рахиль, ты мне дана
Небесным провиденьем.
Но я тебя на суд отдаю,
Но я тебя на суд отдаю...

Его пение сообщало всей нашей дворцово-хозяйственной атмосфере несколько прустовский колорит.

Потом мы надевали ватники, поводили плечами и шли на один из малых, бездревесных дворов колоть лед. Водитель уже подогнал из гаража маленький ТУМ с большим прицепным кузовом, и мы кололи ломами лед, и крупные его глыбы, отражавшие на изломе синее небо, грузили в повозку. А признаки середины апреля свербили наш возбужденный глаз. С крыш падали блестящие капли, норовя сигануть за ворот ватника. Окна верхних этажей сверкали с извечным, но юным по-новому торжеством, размножая солнечные лучи, которые пестрою дымкой оседали на голубизне противоположной, теневой стенки дома, то есть дворца. Бездонной радостью полнилось небо.

Потом наступало лето, и мы снова оказывались на Большом эрмитажном дворе – выколачивали, провеивали и сушили залежавшуюся за зиму коллекцию ковров. В начале июня пекло и блистало уже весьма основательно, и трепет раскрывшихся листьев, проходя по асфальту, еще усыпанному клейкою лузгой недавно лопнувших почек, задевал притушенно-яркую расцветку ковров. В этой притушенности дремала какая-то особенная, персидская страстность, и мифологические то ли животные, то ли цветы или птицы, начинали страшновато так шевелиться в лепете живой лиственной тени, еще не плотной об эту пору. Но мы-то не очень пугались, ловко набрасывая ковры на веревку, и колотя по ним чем попало, гортанно галдя; на время строгая и чуть сумрачная атмосфера имперского питерского барокко оставляла данное место, и оно становилось похоже на какой-то ближневосточный оазис. Довершала сходство вдруг забившая среди дере-

вьев рыжая, бойкая струя опробуемого фонтана, которая на глазах становилась все бесцветней и чище, пока, наконец, не взблескивала на солнце всей своей версальскою пышностью.

Да, вот такая культурологическая путаница всегда здесь царила, и это объясняется самим назначением сокровищницы, собравшей останцы различных культурных эпох на сравнительно узком, хоть и продуманно-роскошном пространстве. Мы, правда-таки, опять повторю, не терялись. Спасительное легкомыслие молодости все как-то в нас уравнивало. Мы несли какой-то древнеющий саркофаг, изрисованный магическими формулами, имеющими, возможно, испепелить, сжить со света способного их понять, под бравую песню: «Умер наш дядя, хороним мы его». Могли подрисовать собачке на старинном французском гобелене пикантный хвостик. В этом не было никакого цинизма, напротив – чувство, может быть, и несколько бесшабашное, свободной ассоциированности со всем этим культурным великолепием. Однажды нас чуть не раздавил громоздкий роденовский «Поцелуй». Это было, когда мы монтировали выставку французской скульптуры в Николаевском зале. Там рядом была темная лесенка со служебным лифтом, равномерно зудящим около нас и бросающим желтые блики из разных своих щелочек. Здесь мы отдыхали после утомительной монтировки образчиков галльского пластического гения. Возвращаясь же в Николаевский, вдруг натыкались на японское богослужение, ибо прошел уже год или более, и скульптура тут возвышалась японская. Бронзоволикие, с выбритыми головами монахи сами-то были похожи на изваяния в широких оранжевых хитонах. Густое Оум! Оум! –

неслось по паркетному залу, и мы внимали с особенным чувством. Тут меня поразили проникновенные чурочки и полешки несравненного Энку; понял я, что искусство может быть чрезвычайно скупым и отточенным в средствах своей выразительности, и духовность, полная, без изъятия, есть принадлежность не одной только христианской культуры. Ничего не поделаешь, об этом непреложно свидетельствовали мои зрительные рецепторы; вопрос этот, однако, настолько сложен, что лучше его оставить до конечного (или, верней, бесконечного) разрешения. Думается, что простое русское слово «ум» – тоже от «оум».

Следует описать и – в пандан музейной сокровищнице – кладовую нашей начальницы. Сколько там было не мемориального, но просто старинного и интересного хлама. Какие-то муаровые мешочки с инициалами (говорят, их использовали под рождественские подарки для дворцовых служителей), медные и серебряные орленые пуговицы, мел, линолеум, пленка полиэтиленовая, бронзовые подсвечники, ведра, цельнокованные велосипеды, небольшие, судя по всему, подростковые, но еще без передаточной цепи, а с огромным передним и малым задним колесами. Что за инфанты на них катались, какие царственные «вилы» (по выражению В. Набокова) выписывали они на аллеях сада – никто уж, наверное, и не вспомнит. Нашли мы где-то под лавкой и довоенную «маленькую» с уцелевшей этикеткой «пшеничная». Кстати, на питейную тему. Бытовала средь нас легенда о замурованных во время революции, а потому сохранившихся, некоторых отсеках винных подвалов. Частенько мы о том вспоминали, особенно по тяжелым дням – понедельникам. Кончалось это всеобщим скидом. Посылали на угол Герцена и Невского,

где была упраздненная ныне «разливуха», Евгения, того самого красивого парня, который мне протежировал, и он возвращался неторопливо с чайником, полным разливного коньяку. А до царских подвалов, как ни пытались, так и не добрались. Наверное, их и нет вовсе...

Выбрались мы из очередной экспедиции по подвалам на тихий, сумрачный дворик, чьи тяжелые, почти крепостные ворота ведут на Зимнюю канавку. Редко, лишь несколько раз в году, открываются. Двор этот сумрачен даже в летнюю пору. А тут – вообще – и грусть, и томление. Мягкая, припорошенная снегом тишина. Белые валики скопились на оконных карнизах, вернее, не белые, а голубоватые в безвоздушном декабрьском освещении. Притихли и затомились наши сердца от этой застывшей, затиснутой, камерной, млечной мглы. Тихо падает снег, оставляя на лице и руках теплые мокрые точки. Мы молоды, но в сердце – предчувствие как бы уже прожитой жизни, томление будущих перемен, жалкого и желанного путешествия. Ну что ж, прошло уже добрых семнадцать лет. Иных уж нет, а те – далеко... Кроме уже упомянутого Мишеля, никто из нас не добился большой известности. Да и с деньгами – швах. Потому-то и подрабатываю в архиве, через дорогу. Что же поделаешь – чем-то ведь надо оплачивать ту золотую пыльцу, чей мягкий отсвет опустился на сердце еще в юности и светит из глубины эрмитажных дворов, как средоточие благородной приверженности ко всему прекрасному и высокому, приверженности, отличающей наш разномастный круг, увы, не слишком широкий.

*1983*

# ВОЗВЕДЕНИЕ САДА

Мой друг необычайно толст. Когда остроугольные, призрачные светотени, отлетевшие от окон идущего под гору троллейбуса, пробегают по фальшивому дубу прилавка и как бы слегка щекочут его испещренную мелкими цветочками рубашку где-то в районе пупа, выезжая из-за спины и пропадая с другого бока легким плавным движением в сторону поясницы, он похож на розовое морское чудовище, вернее, на его мраморное подобие, бесконечно и равнодушно грядущее к берегу недостижимой бухты.

В магазине полутемно. Несколько случайных полуденных посетителей неторопливо шуршат страницами, две бледнолицые нимфы-продавщицы примостились в дальнем углу магазина; лениво и мелодично журчит их пустой разговор; кто-то лихо трещит костяшками счетов за пыльными портьерами отдела обслуживания писателей.

– Никто, понимаешь, никто, – важно изрекает он, – не подумал о том, сколько ценного можно было бы извлечь из исследовательской работы, озаглавленной: «11 марта 1801 года и 14 декабря 1825-го...» Да-с.

– Генрих Петрович, – говорит кто-то робко из-за моей спины, – уделите мне, пожалуйста, несколько минут...

Лицо Генриха расплывается в галантной улыбке.

– А, Оксана! Здравствуйте. Сию минуту!.. Подвинься, дружище. И познакомьтесь, пожалуйста.

Я оглянулся и обомлел. Высокая, стройная, округлосоразмерная Оксана представляла собою тип той плавной, манящей, статичной и глубоко эротической красоты, обладание которой – я в этом уверен – является высшей, но

недоступной жизненной удачей, сладкий груз которой могут нести только люди цельного склада.

Она, видимо, знала о производимом ею впечатлении. Но держалась скромно. Большинство мужчин неправильно представляют себе самочувствие красивой женщины. Столь часто этот огромный и необоримый блеск рождает в мужчине – особенно нынешнем, то есть задавленном всесветской машинерией и мелочной регламентацией быта, трамвайными баталиями и скрытыми угрозами власть имущих – болезненный и фальшивый комплекс; столь часто бессмысленные мелкие оскорбления, вроде циничной усмешки в лицо или мата вдогонку, выпадают на долю нынешних граций, что единственным типом обращения, который придется им по нраву, может быть только ровный и доброжелательный тон.

– Вы за книгами? – спросил Генрих.

– Да. Мне нужно отвезти их на работу.

– Познакомьтесь – Александр, наш ленинградский гость. В отпуске он сейчас. Делать ему все равно нечего – так что рекомендую его незаурядную физическую силу. Поможет вам книги донести.

– Буду счастлив! – ответил я угрюмо. – Куда прикажете?

– Отнесешь в Ботанический! – с барственной интонацией в голосе сказал Генрих.

Город Киев богат ботаническими садами. Их здесь три. Террасами над Днепром раскинулись неоглядные сиреневые кущи. Собрать в одном месте гектары сирени – идея пышная, но и абсурдная – ведь мы любим две-три заманчивые кисти, свешивающиеся из-за полутьмы садовой калитки, а держа их в руках, скорее всего, ищем – одной маленькой редкой звездочки о пяти лепестках. Но в Киеве

всё – не беда, всё лепится в одну салатницу, и есть некая внутренняя гармония между многоэтажными тортами, которыми застроен Крещатик, гирляндами из цветов и фруктов, уместными скорее в храме Деметры, чем на перилах моста Патона, и этим чрезмерным сиреневым великолепием. Мечта о том, чтобы всего было много – общенародная мечта о сытости и достатке, – вот что бессознательно двигало перьями плановиков и умами администраторов, – и постной и бесчеловечной была бы эстетская критика этих милых черт киевского пейзажа.

Второй и, пожалуй, самый из всех уютный – это старый ботанический сад. Он расположен в центре города, между Владимирским собором и университетом, знаменуя собой некий союз между наукой и религией, ибо древние, заскорузлые, воздевающие ветви горе тополя, экзотические кустарники, прямоствольные сосны, как бы овеянные сладковатым ладанным запахом, являют, чудом своего живописного бытия, подлинное доказательство бытия Божьего и, одновременно, являются объектом неизменного попечения и тщательного исследования ученых.

Да, старинное городское начальство хорошо позаботилось о благоустройстве этого сада. Пристойная железная ограда, задумчивые извилистые аллеи в глубине садовой котловины, провинциально-романтическим известняком выложенные гроты, не то стены, предупреждающие оползание почвы, заросшие бледно-зеленым мохом, кое-где побуревшие, покрытые благородной патиной; укромные уголки среди жасминовых кущ, – весь этот зеленый ансамбль, столь банальный и столь единственно верный в своей банальности, верный, как правильно взятый тон приятного разговора, радует глаз и утишает душевное волнение.

Когда человек одинок и празден, как я в то памятное лето, он поневоле сосредоточивает свое внимание на собственном внутреннем естестве. Легко разместившись на краешке садовой скамейки и подставив левую ладонь яблочно-спелому, проникновенному солнечному лучу, я изучал переплетение бугров и ломаных линий, которые ее испещряли. В естественном рисунке этого слепого орнамента я не находил внутренней формулы, единого и целокупного лада, единственно желательного в полдень человеческой жизни. Какое-то неистовое томление передавала напряженно пульсирующая среди других борозд, с которыми она, контрастируя, переплеталась, гротескная, как латиноамериканский оратор или подсыхающий куст шиповника, рваная линия моей жизни.

Трагический объем – странный результат капризной игры света и тени – приобретала узловатая линия ума, а когда налетевший ветер обдавал мою руку зыбкой мельтешней колыхающихся на большой высоте листьев осины, общая картина смазывалась, уступая место какому-то струящемуся искристому танцу, размывающему все структурные признаки моей души, оставляя лишь общий светящийся тонус природного проживания...

Наконец – новый, гигантский сад Академии паук.

О, сад, сад!

Он расположен на горах. Он занял сотни десятин бывших монастырских владений, огороды двух-трех снесенных слободок, огромные, баснословные области вдоль берега великой реки. Он со всех сторон обступил Выдубицкое озеро, изящно обставленное ярко-золотыми маковками малого монастыря, – маковками, испещренными праздничными синими звездами, монастыря, как бы захо-

роненного в малой лощине, среди глубокого буйства пахучих кустов бузины, сочной полыни, мифологически разросшегося древесного царства. С основанием монастыря связана занимательная легенда. Когда, в день крещения Руси, по приказу Великого князя Киевского, идолы Велеса, Перуна и многих славянских богов были брошены в Днепр, вокруг ближнего озера собрались язычники и кричали: «Выдыбай, боже!»

Как знать, может, и выплыл природный бог, – ведь недаром в этих местах так жирна и мягка трава, столь кичливо-горда растительность.

Я проработал здесь около месяца.

Получилось все очень просто. В тот день, когда увидел я Оксану и постиг полную для себя невозможность обладать ею, я захотел одного – созерцать ее дивную красоту, обжигаясь о собственную страсть, жаркий ком которой застревал у меня в горле, как горячая картошка, и, пока не истек срок моего отпуска, видеть ее хотя бы издали, но ежедневно.

В тот же день, в день знакомства, я нанялся работать косцом в Отдел внешней флоры.

Каждое утро торопился я на работу. Была середина августа – время, когда созревают и осыпаются темные ягоды шелковицы. Одно такое дерево росло неподалеку от моего жилища, и, разбежавшись по каменным плитам спуска на Бассейную, я частенько забывал поостеречься и каблуком наезжал на предательски нежную, со скользкой мягкостью матовую шишечку осыпавшегося тутовника и, поскользнувшись, со всего маха садился на плоские ступени. Эта, ставшая почти традиционной, случайность позволяла мне оглядеться, и я несколько обалдело созерцал

крупную брусчатку мостовой, кирпично-красную стену забора, сбегавшего вниз уступами, ряд невысоких жилых домов, испещренных балкончиками и лепными карнизами. Утренняя теплая, обывательски-уютная тишина стояла на Печерске. Политый дворниками асфальт слегка курился под лучами восходящего солнца, и в этом легком тумане, хорошо заметном только мне, седоку, неровная перспектива уходящей вниз улицы казалась таинственной и мистически зыбкой.

Но это мирное настроение вскоре покидало меня.

Подходы к большому ботаническому саду обставлены весьма помпезно. Два симметрично расположенных железобетонных гриба венчают парламентски широкую лестницу, ведущую ко входу. Строгие, очень высокие темно-зеленые куртины, сверкающие купола теплиц недалеко от розария (о, сад, сад!), пересохшая, но обширная чаша фонтана – все это несколько устрашало меня, скромного жителя запущенного областного центра. И, подавленный, брел я аллеями и перелесками – туда, к белой мазанке, где хранился садовый инвентарь.

И потянулись дни, когда я все силы собственных рук вкладывал в нехитрый процесс косьбы, а всею напряженностью глазных яблок, сомкнутых вокруг заостренной полутьмы хрусталика, всем своим неутоленным зрением искал лишь одного объекта для созерцания, способного насытить вечно голодную душу, и целью этого постоянного душевного томления была она – Оксана, соблазнительная, как лицезрение свежего дынного плода для страдающего от жажды.

Но дыню еще надо заполучить, ведь она – всегда чьянибудь собственность; так же и с Оксаной – ведь она была

своей собственностью (да простит мне читатель уместную в данном случае тавтологию влюбленного), и она так широко и независимо пользовалась своей драгоценной для меня особой – то споткнувшись на ровном месте и упав, неизреченно-грациозным движением потирая ушибленную коленку, так что я, стоявший в этот момент на обочине соседнего газона в статической позе декоративного поселянина, резко вздрагивал, сначала от страха за нее, а потом от душившего меня горчайшего вожделения; то попросту следуя мимо с независимым видом, погруженная в какие-то свои важнеющие мысли, от которых тени под ее глазами наполнялись манящей романтической глубиной, а слегка наклоненная шея, обрамленная темным локоном, собиралась легкими складками, лишь подчеркивавшими бархатистую нежность ее смуглой кожи; то вдруг, заметив меня, уже в третий раз деловито проходящего мимо розария, откуда несся жаркий, густо услащенный аромат роз, приветливо кивая мне, несмотря на дурацки вымученную, неловко претендующую на светскую легкость улыбку, застывшую у меня на лице столь прочно, что уже по дороге домой, толкаясь локтями в переполненном автобусе, я ловил себя на том, что улыбка эта, столь неуместная в подобных обстоятельствах, все еще висит у меня на лице.

Да, она принадлежала себе самой. Иногда я, набравшись смелости, подходил к ней (чаще это бывало в конце дня, когда все мы покидали роскошные ботанические кущи) и произносил одно только слово: «Оксана!»

Она оборачивалась ко мне, понимающе, даже слегка виновато улыбаясь, и говорила что-нибудь безразличное, вроде: «Вы домой?», и в этой ее виноватой улыбке, как я сознавал, не было отчуждения, лишь дружелюбный вопрос:

«Что же ты? Почему не заговоришь по-человечески?», – вопрос, который, впрочем, не нуждался в ответе, так как и она, и я понимали, что мною владеет тот томительный и неодолимый паралич, который есть следствие чрезмерной, непозволительно насыщенной страсти.

Так проходили дни моего быстротечного отпуска.

– Марья Трофимовна! – бросает Генрих через плечо. – Сдадите за меня отдел. Хорошо?

– Иди, Геночка. Ты же торопишься...

– Большое спасибо, Марья Трофимовна.

Мы выходим из полутьмы магазина на Красноармейскую улицу.

Вечереет. Румянятся верхние этажи желтого дома на другом берегу сиреневой асфальтовой реки. В этом доме когда-то жил, как вещает неброская мраморная дощечка, известный писатель Шолом-Алейхем; на самом высоком балконе, неловко растопырив тонкие ноги, грустно косясь сливовым оком на снующий по улице деловой, в пестрых летних одеждах люд, стоит бородатый сухой козел. Клок сена застрял в его бороде, но он не замечает этого, грустя в явно непривычном ему, даже абсурдном, видать, парении.

– Ну как, тебе еще не надоел ботанический? – спрашивает Генрих. – Как там твоя должность называется согласно штатному расписанию? Толстовец четвертого разряда?

– Зря ты, Генрих, иронизируешь, – отвечаю я примирительно. – Что может быть здоровее и чище упорного мускульного труда на открытом воздухе? Смотри, козел!

Генрих смотрит. Долго, сосредоточенно, задрав к небу все три небритых своих подбородка, созерцает феноме-

нальное животное. Потом опускает взгляд. На лице его – грусть.

– Да, это козел, – говорит Генрих. – Это козел-репатриант, он готовится к ночному перелету в Израиль. Это козел-сионист, он хочет сложить свои невкусные кости среди садов Иосафатовой долины. Он полетит на юг, с посадкой в городке Старый Крым. Если на границе его не обстреляют, наутро он будет уже над Кипром...

Наш разговор прерывается. Мы шагаем молча, наблюдая за тем, как прозрачные сумерки опускаются на плотные заостренные кроны пирамидальных тополей бульвара Шевченко. Яркий мерцающий свет, теплый дух, мягкий певучий говор льются из-за занавесок ресторана с открытыми окнами, мимо которого мы проходим. Звяканье посуды, тихие звуки пламенеющих труб.

Та-та ри-та ти-та Черемшина...
Ти-та ти-та ти-та Буковина...
Жди, дивчина, жди...

– Есть такое желание, – говорю я. – Купить вина и пойти в гости.

– Ну что ж, – отвечает Генрих. – Я поведу тебя туда, где пьют вино и говорят глупости. Я поведу тебя в пестрый людской палисадник. Поведу только потому, что ты, косец, хочешь ты того или нет, – есть живая аллегория смерти. Я жажду мрачного розыгрыша...

– Что ты! – отвечаю я своему близкому другу и тихо улыбаюсь подступившей вечерней мгле.

Русский язык неудобен дли писательского труда. Он сродни чугуну, а не ковкой меди. То, что легко дается

чеканщику или граверу – двумя-тремя ударами молотка обозначить динамику птичьего полета или точным движением резца – полет мысли, – требует от русского сочинителя огромной подготовительной работы. Резать из дерева форму, загонять в опоку, сеять тончайший песок, чтобы в нем отпечаталась малейшая крупинка будущей вещи; выводить литники, чтобы жар раскаленного слова не повредил замысла, – все это труд довольно нелегкий. Но когда разбита звонкая сухая оболочка – сколько неизбывной радости уму, глазу, сердцу подарит тебе совершившееся творение – будь то тяжелый резной георгин с толстыми клубнями или отливка длиннопалой старческой кисти, припорошенная рыжим песком с мельчайшими гранулами темно-золотистой речной слюды.

Зачем я об этом рассказываю? Затем, чтобы читатель понял, как далеко витал я в своих мыслях, когда вдруг заметил при очередном взмахе косою, что на ее темном, шероховатом, лишь вдоль острия сверкающем лезвии налип малый лоскут желтоватой, заскорузлой человеческой кожи. Когда, через несколько секунд, заработали мои слуховые рецепторы – вместе с шелестом высокой листвы на аллее и скучным гуканьем днепровских пароходов я вдруг услышал слабое собственное нытье. Оглянувшись на своего напарника, Григория, я увидел его сухой мускулистый торс, равномерно покачивавшийся в такт взмахам работающих рук. И только потом ощутил острое жжение в большом пальце левой ноги, с кончика которого была начисто срезана кожа, так что вид белесо-розового подкожного вещества, прикрывавшего самое плоть, вызвал у меня быструю реакцию легкого инстинктивного содрогания. И в ту же секунду обильно прыснула кровь.

– Григорий! – позвал я. – Глянь-ка! Григорий оглянулся на мою приподнятую грязную ногу, на которой глупо болталась потертая босоножка.

– Эк тебя, Саня, угораздило! – сказал он.

Так началась полоса моего вынужденного безделья. Я хромал и томился от скуки. Ежеутренне приходил я в ботанический сад и, потоптавшись вокруг розария и вдоволь насытившись двусмысленными улыбками Оксаниных сослуживцев, брел куда-нибудь наверх, в глубину сада, где, выбрав лужайку потенистей, вел счет неудовлетворенным минутам своей праздности, то следя за жесткокрылыми блестящими букашками, деловито снующими в густосплетении надпочвенных стеблей, то перелистывая какой-нибудь старый, с пожелтевшими страницами томик, вроде книжки «Язык цветов», не без иронии подсунутой мне Генрихом, то кропотливо работая над небольшою, но, видимо, хорошо удававшейся мне поэмой, которая повествовала о страстной жаре южного лета, о толстых кукурузных початках, столь тяжелых и золотистых, что под их тяжестью трескался мраморный прилавок крытого прохладного рынка, и, наконец, о страданиях неразделенной любви, обуревающей душу молодого горожанина, закинутого судьбой далеко от родного дома.

Однажды я забрел на укромную площадку, отделенную от внешнего мира густыми рядами ровно подстриженных кустов. Она находилась на вершине одного из многочисленных холмов этого сада; в самой середине ее были расположены три овальных железобетонных водоема, поросших ослепительно-белыми водяными лилиями с их плоскими плавучими листьями, всегда производившими впечатление чего-то искусственно-декоративного, срабо-

танного искусной рукой, чему не мешали даже малые размеры и жесткие очертания бетонных берегов, их обрамлявших. Я залюбовался цветами, прохладной гармонией их геометрически-точных живых форм. Ощущению этой природной живости не мешала даже прозрачность неглубокого слоя воды, позволявшего видеть интимную тайну произрастания этих цветов, круглые стебли которых коренились в небольших деревянных ящичках, уже успевших, впрочем, обрасти кое-где плотными рогульками раковин, проводящих свою иную, подводную жизнь в напряженном оцепенении. Даже то, что из сухой бетонной стенки торчал обычный заржавленный кран, с шипением извергавший беловатую струйку городской воды, не портило ощущения первозданной прелести этих растений.

– Любуетесь? – услышал я рядом молодой насмешливый голос. Я оглянулся. Подле меня стоял невысокий юноша с голым продолговатым лицом, в пестрой ковбойке с засученными рукавами, темно-синих «фирменных», щеголевато потертых джинсах, белых чешских полукедах. Мельком я видел его у входа в ботанический. «Наверное, это его цветы», – подумал я, и не ошибся.

– Лилия – растение обыкновенное, – сказал мой собеседник.

– Прекрасные цветы.

– Вы ошибаетесь. Уж слишком они роскошны. Присмотритесь получше – вот что будет гвоздем программы! – И он указал мне на тонкие стебельки с круглыми, слегка пожелтевшими листьями, едва достигавшими поверхности искусственного пруда.

– Что это? – спросил я.

– О, это лучшее из водяных растений! Уверяю вас –

скоро эти цветы будут расти в каждом пруду!

– Извините, но по их виду этого не скажешь...

Тогда он наклонил к моему уху свое миловидное, школьнически нежное лицо и твердо сказал:

– Будут. Пойдемте ко мне в кабинет, я кое-что покажу вам...

Прихрамывая, пустился я за своим собеседником напрямик, по зеленому садовому откосу, покрытому крупными желтыми пятнами солнечного света.

Странное впечатление производил рабочий кабинет этого человека. Странное потому, что уж очень не вязалась строгая его атмосфера с тем, как выглядел сам хозяин. Пол был покрыт блестящим, чисто вымытым розовым линолеумом. Синей и белой эмалевой краской были покрашены стены и потолок. Высокое окно – голое, без занавесок. Над необъятным лабораторным столом, заставленным прозрачными колбами, какой-то немыслимой, с бесконечным количеством стеклянных и резиновых патрубков аппаратурой, блестевшей никелированными частями, аккуратно прикрепленные кнопками к стене висели портреты Мичурина и Лао-цзы.

– Вы увлекаетесь Востоком? – спросил я своего нового знакомого.

Он промолчал. Откуда-то из бесчисленных ящичков и коробок он достал и бережно протянул мне на открытой ладони нечто, сильно напоминавшее желтоватый кусок старой ткани. Когда я пригляделся, то разобрал, что в руках у меня малый засушенный цветок.

– Что это? – спросил я, заинтересованный.

– Это лотос, – отвечал мой неожиданный знакомец. – Это единственный цветок, выращенный мною два года

назад. Он вырос здесь, в этом самом бассейне, у которого мы с вами познакомились...

– Зачем вам это? – неожиданно грубо спросил я.

– Зачем? Да как вы не понимаете! Это цветок, пристально глянув на который, успокоится любая измученная душа! Если посадить его в каждом пруду, в каждой заводи – представляете, какого можно добиться мощного эффекта! Не будет больше ни ссор, ни драк. Повысится бытовая культура. Расцветут ремесла, и возрастет благосостояние! Любой производственник, любая пастушка, устав от нелегкого своего труда, смогут прийти сюда, к лотосам, и, созерцая их, отдохнуть душою...

– Да вы шутите, – досадливо поморщился я.

– Ну и шучу, пусть. Но, уверяю вас, цветок этот нужен. И он будет расти здесь, вот увидите!

Мы вежливо распрощались. Странную тень оставила эта встреча в моем сердце...

Вскоре в Киеве резко испортилась погода. Похолодало, и, уволившись, я бесцельно бродил по городу, особенно часто среди пропыленных домов и белых церквушек Подола, в слободках которого можно и посейчас отыскать густолиственные садочки с мощными стволами вишен, щедро усыпанных темной ягодой, с белеными стенами стоящего в глубине сада частного домика, с голосистым кочетом, задиристое пение которого раздражало меня, по странной ассоциации идей напоминая о любовной моей неудаче.

А потом зарядили дожди. В последний день своей киевской жизни я брел по Крещатику, заслонившись легким плащом от моросящего с неба дождичка, созерцая зеленовато-бурые, с обломанными иголками кусочки каш-

тановой кожуры и сами плоды каштанов – монолитные, будто вырезанные из одного куска орехового дерева, а потом тщательно отполированные на потеху киевским детям. Я наклонился и поднял с мокрого асфальта твердый коричневый плод. Но не витая игра его окраски вдруг поразила меня, а удивительное преображение собственной ладони. То ли рукоятью косы, то ли бессолнечным освещением разглаженные, линии моей души обрели вдруг стойкость и ясность, о которых я не смел и мечтать. И они, видимо, не лгали – эти линии, ибо особое спокойствие и умиротворенность ощутил я, слушая, как бежит вода по жестяным резонаторам водостоков.

Было безлюдно на Крещатике, пусто было и в магазине, где уныло притулился в углу прилавка мой закадычный друг.

– Павел Пестель и Сергей Трубецкой – вот в чьих душах коренилась смысловая нагрузка декабристского мятежа! – сказал он мне на прощанье. – А все остальные – лишь пешки в руках истории! Да-с...

*1972*

# ЦВЕТОК ПАЛЕСТИНЫ

*Посвящается Номи Беркович*

Вчера вот – текло, а к утру – подморозило; черные деревья в саду стояли, словно в озере голубой ртути, и среди них бежала светлая дорожка от восходящего весеннего солнца.

Сгустки прошедшего времени движутся аритмично, толчками: оказалась эта картина воспоминанием месячной давности, всплывшим во сне; наяву, за стеклом, деревья уже распустились и ветер гонял по асфальту столбики пыли. Работалось легко, хорошо, и только к полудню он осознал, на минутку отвлекшись: сегодня – его день рождения.

Да, как-то так, ни шатко, ни валко, подстучал и полтинничек. Михаил отнесся к этому событию философски: Каждому овощу – свои сроки. У каждого возраста – свои кайфы. Главное, к осени запастись кальсонами потеплее.

Таким образом разрешив проблему своего долголетия и оторвавшись от вороха неизбежных бумаг, он услышал телефонный звонок.

Не сниму! – решил он. – Оторвут от дела, и, возможно, надолго. Кто-то спешит отметить мой юбилей.

Однако в каждом телефонном звонке, в самом звуке телефонного перезвона таится некая информация о грядущем содержании разговора. Требователен и грубоват звон служебный. Переливчат и пустозвонен вызов неблизкого, но болтливого не по делу знакомца. Чувственен и опасен звонок покидаемой тобою подружки.

В звучаньи сейчасошнего почудился Михаилу Александровичу какой-то пряный экзотический оттенок, который его заинтересовал.

«Надобно подойти!» – решил он. Но пока он спешил в соседнюю комнату, роняя на ходу домашние тапки, услыхал сшибленную на взлете музыкальную фразу отбоя.

– А, чтоб вас всех! – сказал он в сердцах. Его торопила заказная работа, и любая помеха казалась ему личным выпадом.

Он возвратился к письменному столу, сосредоточился над статьей и продолжал:

«Петербургский период русской истории давно уж закончился; с возвращением городу его имени открылся петербургский период истории собственно петербургской...»

Погрузившись в работу и отбарабанив странички три на машинке, он не сразу услышал тот давешний, заманчивый и непохожий звонок. К телефону он поспел вовремя.

– Алло! – проговорила молодка. – Михаила Александровича позовите.

От тотчас же понял, что его вызывает нерусский человек, и не составило труда догадаться, – от кого.

– Михаил Александрович слушает! – отвечал он, инстинктивно выстилая свой голос вальяжным бархатом.

– Меня попросил вам звонить Ури Кохен. Передать письмо и пакет. Вы свободны?

– Свобода – понятие относительное! – не смог не сострить Михаил Александрович, про себя потешаясь – Юрка таки изломал свое имя! Ури теперь, надо же!

Девица проигнорировала сигнал интеллектуального кокетства, посланный Михаилом Александровичем.

– Вы имеете полчаса? – спросила она. – Послезавтра я уезжаю.

– Разумеется, я готов с вами встретиться! Когда вам удобнее?

– Вам возможно прийти во дворец Сабанеевых-Быстрых? – спросила она. – Я привезла в Петербург выставку художественных букетов. На втором этаже, в Малом зале...

– Пятнадцать минут пешим ходом... Мы с Сабанеевыми соседи, можно сказать...

– Тогда – жду вас через двадцать минут. Меня зовут Номи. Там спросите.

«Так, – решил Михаил, – заодно загляну в журнал „Сызрани“. Может быть, авансом побалуют...»

Закопченное великолепие дворца Сабанеевых было ему отчасти знакомо. В молодости он поработал здесь младшим копировальщиком. Тогда во дворце размещался газосварочный институт, с немалым скандалом выбитый отсюда городскою общественностью.

Пройдя мимо пасторальных лужков, украшавших стены и расстрелянных из упорного пистолета, забивавшего ригели для партийных, профсоюзных, комсомольских, противопожарных, дружинных, политбюровских, доскопочетных и прочих стендов (впечатление было такое, что некто полил пастушков и пастушек веером из Калашникова), он вошел в огромный директорский кабинет – помещение, отделанное дубовыми резными панелями и более всего сохранившееся.

Казенная мебель была отсюда увезена, за исключением большого чугунного сейфа, на котором стояло ведро, набитое необычными для взгляда цветами. На корточках, распаковывая какие-то ящики, копошились двое чернявых юношей, над которыми склонилась юная золотоволосая девушка в темно-синем костюме: клубный пиджак с серебряными пуговицами и прямая строгая юбка.

– Здравствуйте, – сказал он негромко, – вы – Номи?

Увлеченная делом, она не расслышала, но, последовав за взглядом поднявшего голову юноши, изуродованного огромною «заячью губою», она увидела Михаила Александровича.

– Шалом! – сказала она. – Ма шломха?

На него смотрела ожившая Нефертити, с лицом из точеного, мягко тонированного загаром алебастра, производившим такое впечатление, будто над его выделкой поработал, рассеянно и бездумно насвистывая, подлинный гений резца и творящей мысли. Михаил Александрович растерялся.

– Извините великодушно, – сказал он, автоматически подбирая самые чистые по звучанию и мягкие на ощупь слова, – позвольте признаться, что я не владею...

– Вы – Михаил? – перебила она.

– Михаил, – он ответил. И замолчал.

Она подняла с полу черный поношенный рюкзачок, порылась в нем тонкими пальчиками, достала письмо и пакет. Он убрал их в свою наплечную сумку.

– Как там Юра? Живет хорошо?

– Юра? Кто это? Да-да, это – Ури... Ну, как сказать... Ведет он себя с достоинством. Ни у кого ничего не требует. Работает на заправочной станции. Послезавтра идет на военные сборы...

– А как дети, жена?

– Старший – учится, конечно, по вечерам. Малая – ходит в садик, жена моет посуду у Гиви...

– Гиви? Простите, но я не в курсе...

– Ах да, а вам неизвестно... Гиви – хозяин кафе в Абшалом Хавив. Шашлыки-машлыки! – сказала она, состроив зверскую гримаску и ткнув пальцем в пространство, как будто что-то нанизывая на вертел, а потом очаровательно улыбнувшись.

– Гиви – хороший человек, справедливый. Он в Газе получил пулю в ногу, хромает, и ему одному не справиться... А Галина ему помогает...

Парень с «заячьей губой» в непонятном Михаилу Александровичу раздражении дернул за крышку ящика, так что она с треском отлетела и воткнулась гвоздями в затертый до матовой вялости наборный паркет.

– Бизгирут, типеш! – бросила девушка.

Парень ничего не ответил, но покраснел так сильно, что цвет его лица сравнялся с отвисшей почти что до подбородка верхней губой.

Повинуясь какому-то безотчетному влечению, Михаил, обогнув упавшую крышку, подошел к высокому окну, повернул медную рукоятку запора и дернул его на себя, обдав всех присутствующих застоявшейся пылью и клочьями бумаги и ваты. В залу пахнуло петербургским прохладным ветром, напоенным запахом росшего под окном куста с белыми восковыми цветами, которые в России почему-то зовут жасмином.

– Не надо! – всплеснула руками Номи. – Они ведь простудятся и завянутся!

«Глазами испуганной финикийской газели», как сказал бы Исаак Бабель, она глядела на свои дрогнувшие от прохлады цветы.

«Да, Бабель, Бабель, смотря какая бабе́ль», – с терпким каким-то чувством подумал про себя Михаил Александрович и бросился затворять наведшее переполоху окно.

– Покорнейше прошу извинить, – второй раз за какие-то пять минут извинился он. – Я думал, что так будет лучше... Ну, я пойду.

Номи подошла к чугунному сейфу, достала из оцин-

кованного ведра ярко-алый, на длинной ножке цветок и протянула Михаилу Александровичу.

– Это – для вас, – сказала она и посмотрела в его зрачки каким-то далеким, как остывающие к ночи пески, совсем непонятным взглядом.

– Приходите назавтра. В одиннадцать часов открываем.

– Не премину, – ответил Михаил. – Всего доброго.

В редакции ежеквартальника «Сызрани» царил извечный бардак. Пепельницы, заваленные не выносимыми с неделю окурками, корзина для бумаг, переполненная настолько, что из нее ползла черная бахрома машинописной ленты, усеянная почему-то лузгой нащелканных каким-то сотрудником или посетителем семечек.

За столиком сидела машинистка Ламара – бойкая красивая полугрузинка, столь отлично «прикинутая» и, как он знал, «деловая», что совершенно непонятно было, какого рожна она торчит здесь, в этой до желтизны прокуренной комнате, по восемь, а то и по десять часов за сутки.

– А, Миша, привет! – помахала она длиннопалой сильною кистью, оторвавшись от перепечатывания какого-то текста. – А Деятель еще не пришел. Но ты подожди – он звонил, чтоб его подождали. Смотрите, какой у тебя фирмовый цветок. Просто прелесть! Случайно, не мне?

– Голубушка! Не тебе. С меня – букет роз. А этот – мне самому подарили. Не обессудь.

– Небось, какая-нибудь фанатка? Ничего удивительного. Тобою тут, кстати, Зинка интересовалась. «Что это за хмырь, – говорит, – с седой шевелюрой?» Я ей: «Так это же – уважаемый Михаил Александрович, крутой культурологический мен! Ты же с ним и двух слов не свяжешь – опысаешься!» А она: «Это с какой еще стороны поглядеть! Если снизу...»

– Польщен, безумно польщен! – ответил Михаил Александрович, утирая вспотевший лоб. – Но знаешь, Ламара, боюсь – она не по мне. Тут нужен, я думаю, солдат срочной службы, да еще бы не из плюгавеньких... Зизи – дева плотная...

– Так ей и передам! – сказала Ламара, посмеиваясь.

– Боже тебя упаси! В каком свете ты меня выставишь?

Оба слегка посмеялись, и Ламара по новой затрещала на своей разбитой машинке.

«Посижу еще минут пять, – подумал Михаил Александрович, – а там и пойду, ждать – невместно».

Но ждать ему не пришлось. В комнату, зыркнув умными живыми глазами, запрятанными за прозрачные перегородки очков, вошел Деятель – Василий Филиппович Колобцов, редактор журнала.

–А, Михаил Александрович, здравствуйте! – поприветствовал он, улыбаясь несколько деланною улыбкой. – Это хорошо, что вы заскочили. Мне как раз хотелось с вами поговорить.

– Отчего же бы нет, – ответил ему Михаил, присаживаясь на краешек стула у заваленного бумагами редакторского стола. – Особенно если речь пойдет об авансе.

– Боюсь, что с авансом придется повременить.

На широком лбу Василия Филипповича собрались тяжелые складки. Он согнал тонкогубую улыбку с лица и продолжал:

– Понимаете, у меня, честно говоря, вызывает некоторое недоумение ваша последняя статья. Особенно вот этот пассаж, гм, гм... да! «Петербургский период русской истории...» ну, и так далее. Я понимаю, если б с подобной безапелляционностью рассуждал проевший на истории

зубы специалист. Но ведь вы же, насколько я понимаю, таковым не являетесь? Кстати, что вы кончали?

– Русское отделение филфака. Да и то – лет двадцать назад.

– Русское?

Колобцев снова заулыбался своею бледной улыбкой.

– Русское, вы говорите? А я, читая вашу статью, подумал, что – эсперанто. Как-то, знаете, безлюбо все то, что вы написали, нейтрально, хоть и не без апломба... Как говорится, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан...

– Не хватает душевности? – спросил Михаил Александрович, позвоночником ощутивший, к чему тут клонят, и нанося невинный на вид контрудар.

Деятель моментально задергался, заерзал на своем венском стуле.

– Почему же вы, Миша, против душевности? Весьма и родное, и кровное, праматерне теплое чувство... Я бы его так зазря не отринул. Если, конечно, обходиться без фобий различных...

– Ну, да. Например, ксенофобии, Вася. Да что уж тут спорить. Ковчег ваш меняет курс? Догоняет флотилию, так?

– Вам известно, Михаил Александрович, что журнал «Сызрани» всегда был направления консервативного. Сотрудничая с нами до сего дня, об этом не знать вы не можете.

– Что верно, то верно. Да разные бывают оттенки. Ну, ладно, давайте статью, я – в «Северный порт». Давно зазывают.

– «Северный порт»? Помилуйте! Да ваш ли это уровень? Подумайте, Михаил Александрович!

– А ничего, мы планку поднимем. Маруську туда перетащим, да Игорька. Новый курс потребует и новых сотрудников, я полагаю... Всего наилучшего.

– Не горюй! – подмигнула ему Ламара. И Михаил Александрович ушел, сжимая в руке, как дурак, пачечку машинописных листов, из которых торчала, покачиваясь на стебле, яркая головка цветка. Только на лестнице он догадался снять с плеча сумку и сунуть туда статью. Письмо и пакет от Юрия ждали его внимания.

«Черт меня дернул насчет аванса полезть! – с болью и гневом, с огромной обидою на себя самого чертыхнулся Михаил Александрович. – Да, вот такой разговор, интеллигентный и недвусмысленный... Куда же все катится?»

Препираясь с самим собою, искренне огорченный, он добрел до бульвара на Малой Конюшенной, который поманил его зеленой прохладой. Присел на скамейку, достал из сумки письмо, мельком глянул на загорающего напротив него пьяного оборванца, большим и указательным пальцами оторвал край конверта и углубился в чтение.

«Итак, дорогой, – писал Юрка, – теперь я внимательно рассмотрел уважаемых тобою хасидов. Ты прав – и действительно, какое прекрасное лицо попадается среди восемнадцати насупленных, тупых и дебильных! Правда, случаются и эксцессы. Недавно они чуть не до смерти отбуцкали журналиста, который два года назад написал довольно нейтральную статью об их духовном руководителе. Так что, мой дорогой, Мартин Бубер – это еще далеко не исчерпывающий источник.

Недавно починял электричество на своей черепичной крыше. Со всего квартала сбежались детишки – посмотреть на интересное зрелище.

– Илья-пророк, Илья-пророк! – кричали они.

А с крыши – видать далеко. Неглубокую балку с арабским минаретом, откуда через динамик во всю мочь над-

рывается муэдзин, построенную крестоносцами башню, синие далекие горы. И много чего еще, во что не поверишь, не увидев собственными глазами...»

Дочитав письмо, Михаил Александрович осознал, что его глаза увлажнились.

«Старею! – подумал он. – Ишь, расчувствовался! Да, полтинник – возраст немалый… К вечеру – надерусь!»

Понурив голову, он брел домой, инстинктивно держась поближе к поребрику – с карнизов в последние годы неожиданно сыпалась штукатурка, и уже были случаи, что кого-то зашибло.

Через день он встретился с Номи в Михайловском – передать свои письмо и пакет.

Озеро в саду зацвело; какие-то праздные люди пытались ловить на удочку карасей.

– Как Ури, машину еще не купил? – спросил он со скрытой иронией. Она не услышала иронической интонации в его голосе и нахмурилась.

– Какую вы марку предпочитаете? – спросила она.

– Я бы взял «вольву» последней модели, – продолжал пошучивать Михаил.

– Знаете, как, – сказала она, – что я же вас осуждаю.

Акцент ее от волнения усилился. Она поправила упавший на лицо рыжий локон тонкой рукою, запястье которой было перепачкано соком какого-то экзотического растения.

– Мой папа – как Маугли в Буковине – скрывался от пули и грыз корешки! Ему было четырнадцать лет! А после – он воевал и вырастил деревья в песке! А вы – как не стыдно, такой ерундой интересуетесь! Поглядите на себя – на что вы похожи, странный человек! Чего вы ожидаете здесь, на чужбине? Золотое «вольво»?

– Для меня Петербург – не чужбина. Смею заверить, что петербургский период русской истории...

– Мне вас жаль! – сказала она. – Прощайте.

Молча забрав пакет и письмо для Юрия, она пошла прочь по аллее сада.

Ему вдруг стало так больно, такая глубокая безнадега всклубилась в его душе...

«Господи, Иисусе Христе, спаси и помилуй! – воскликнул он про себя. – Шма, Исраэль!»

Он смотрел, как она удаляется – стройная фигурка мелькала среди кистей набрякшей и сильно пахнущей близко к дождю сирени, – тонкая, умилительно легкокостная – почти что подросток в своем клубном или школьном костюме. Невыносимо, со страстию, близкою к рыданию, ему захотелось догнать ее, схватить ее узкую детскую ладошку, перепачканную соком какого-то экзотического растения, удержать, что-то ей объяснить... Он не стал.

Пришедши домой, он долго разглядывал увядший цветок, а потом сунул его в альбом, чтобы засушить среди теней ушедших родителей, далеких, далеких детей. В кабинет заглянула жена и с обычной своею грубоватой сердечностью бросила: «Ну, что, старый хрен, не пора ли обедать?»

– Попозже, Варюша, – отвечал он спокойно. – Надо кой-что обмозговать.

Она хотела о чем-то спросить его, но передумала, промолчала. А он сидел за своим рабочим столом, бессознательно слушая, как первые тяжелые капли приминают к асфальту попону пыли, захлопнув альбом, не замечая его, преисполненный – сожаления? счастия? горечи?

Главным, пожалуй, было ощущение тотального одиночества – предельного, как на смертном одре. *1993*

# ПЕС МАРТИН

В каждом живом существе, даже в курице, есть свои биотоки. Романтикам этого не понять. Они о «душе» толкуют. «Свойства души – говорят романтики, – многоразличны в своих проявлениях». Вздор это. Я так вот с первого взгляда вижу – у кого какой электрический потенциал. Высокий он или низкий. Плюсом заряжен или же минусом.

Могу предложить специальные рекомендации, на манер старых мусульманских риторов: «Если у Рашида высокий положительный заряд, пусть найдет себе жен с низким отрицательным. И да поможет ему аллах».

Учение о биотоках разработал я еще в детстве, когда из кошек искры вычесывал. Не заживались они у нас, все исчезали куда-то. Но разбудили мой юный пытливый ум, ну, как Герцена декабристы, простите мне вольное сравнение.

Ставил я серию разных опытов. Опишу один из них, самый действенный. Ты берешь испытуемого правой рукой за левое ухо и внимательно смотришь ему в глаза. Цепь замыкается. Тут гляди в оба. Если заряд у него неподходящий, произойдет мгновенное отталкивание. Может при этом тебя невзначай покалечить. Если же опыт прошел благополучно, и вы оба понимающе улыбнулись, значит, между вами есть электрическое притяжение. Можете стать и друзьями, если не перессоритесь.

Тот, кто называет это явление «сродством душ» – глубоко неправ. И вот почему – «сродство» предполагает одинаковость свойств – ну, скажем, электрозарядов. Говоря по-научному – равенство потенциалов с одинаковым

знаком. Любой шестиклассник вам разъяснит, что такие исходные данные ведут к отталкиванию, а не сближению. Причем же здесь, простите, «сродство»? Если б и было оно в природе, служило бы лишь помехой.

Впрочем, это все – к слову. Я хочу рассказать о моей собаке, которую звали пес Мартин. Она жила у меня меньше года.

Уж не подумайте, читая мое, так сказать, научное введение, что я уже стар и сед. Человек я еще сравнительно молодой, в меру упитанный, «в кондиции» – что называется. И когда я гулял с моим песиком по улицам нашего красивого города, многие дамы и даже девицы обращали на нас внимание.

– Это кто, спаниелька? – спрашивали.

– Точно так! – отвечал я гордо. – Суперспец по водоплавающей птице!

На спеца мой маленький песик вначале не очень-то походил. Взял я его полуторамесячным, хиленьким, хоть и резвым. Но само сознание, что это не просто так, шавка беспородная, а родовитый охотничий пес с солидной специализацией, внушало мне затаенную гордость. Не поймите меня в том смысле, что собирался я с ним и впрямь идти на охоту – боже упаси! В жизни своей не держал я в руках ни гладкоствольного, ни нарезного оружия. Леса отнюдь не любил. Однако, зайдя в магазин и увидев охотничью шляпу с фазаньим пером, решился ее примерить. А примерив и удостоверившись, что она мне к лицу, тут же ее и купил. Поступок, положим, загадочный. Но по сути своей – довольно обыкновенный. Согласитесь, ведь и джинсы сейчас покупают отнюдь не одни ковбои.

Покупка моя оказалась, по-видимому, удачной. Эта мысль окончательно оформилась во мне, когда соседка сверху, пышнотелая такая девица на выданье, стала нам с Мартином лестные предложения делать. Однажды, когда я учил своего пса приносить палку, и он с заливистым лаем гонялся за ней по детской площадке, она ко мне подошла.

– Петр Сергеевич, – спрашивает, – вы цените любовь ан труа?

– Как это? – не понял я.

– Очень просто, – отвечает. Мы уединяемся в прохладной комнате, и вы делаете так, я так, ну а песик ваш...

– Ценю, – отвечаю. Но вот в чем загвоздка. Вы, вероятно, не знаете, как представитель гуманитарной науки, что каждому присущи свои натуральные биотоки. Так что позвольте.

Тут я повторил свой детский апробированный опыт. Взял правой рукой ее левое ухо, замкнул глазами. Чувствую, что обмотка греется, искра будет. От такой бы подальше. Ну, да уж поздно. Только хотел я цепь разомкнуть... ее из окошка позвали. И ушла она от меня повиливающей походкой, всей дебелой спиною своей выражая презрение.

– Вот они, плоды современной акселерации! – горько подумал я, не сразу заметив, что песик-то крутится возле меня, радостно повизгивая, показывая в улыбке чистые белые зубы.

– Милый мой маленький козлик! – продолжил я свое рассуждение. Ты, брат, еще совсем несмышленыш. Неведомы тебе ни тайные козни паучьего сладострастия, ни встречи при луне, ни прогулки, когда дерма руки как бы невзначай касается вдруг потеплевшей и чуть увлажнив-

шейся дермы чужого плеча... слияние слизистых оболочек, и звуки, как будто сошедший к отлогому берегу твой собрат тихо лакает воду.

– Что, что тебе тайный Эрос рано развившихся технарей и гуманитариев? – так завершил я свое рассуждение. – Ты и не знаешь, и не узнаешь оного, ибо инстинкт продолжения рода, до срока в тебе сокровенный, прям и функционален, как ствол кокосовой пальмы. Спаниэль – значит испанец. Испанцы же – рыцари и благородны. Помни об этом всегда! Будешь счастлив.

Маленький мой ученик, смущенный столь веской проповедью, теребил когтями какую-то тряпку. Потом отпрыгнул, схватил зубами тренировочную деревяшку и пустился рысцой от меня, смешно поджав зад, как все спаниели, всем своим видом предлагая продолжить нашу игру.

Я огляделся. Встрепенулась фазанье перышко моей шляпы. Теплый ветер задул.

Да-тес, весна-тес! Это вам не хрю-хрю, не хухры – мухры! Это вам сочный лист и подсохший бумажный сор, весело скачущий через дорогу. Это вам и заманчивые предложеньица... ну, да и бес с ними.

Для малого песика первое дело – корм. Кости – нельзя, зубы еще не окрепли. Жирного – тоже, грозит расстройством желудка. А вот битые сырые яйца вместе со скорлупой – очень рекомендовано. Укрепляет растущий молодой организм. Вкупе с достодолжными наставлениями способствует, так сказать, гармоничному росту.

Хвостик культёй, по охотничьему – прави́ло. Смешные кисточки на концах лап. Детские шалости и капризы, и явный невинный страх при проказах. Так что когда он

скулил, непрощенный или наказанный, в этом скулении слышалось: «Я брат твой».

Должен открыто признаться, что жизнь моя, дотоле пустая и мелкая, с появлением Мартина приобрела некий подспудный смысл.

Досуг свой я уже посвящал не простому лежанию на диване, но изучению солидных трудов по кинологии, давняя и нереализованная любовь к научным занятиям обрела, так сказать, свой предмет. К тому ж и эксперименты, подсказанные мне теоретическими изысканиями, можно было проводить тут же, на месте, не откладывая в долгий ящик. Походя опроверг я учение академика Павлова о рефлексах. Произошло это, как и многие замечательные открытия, чисто случайно.

Однажды я пришел домой чем-то расстроенный. Похоже, по службе мне вышли какие-то неприятности. Не обращая внимания на бурное ликование пса по моем приходе, не заходя на кухню – обедать, я прошел в свою комнату и залег на диван. «Ах, оставьте, зачем вы меня обижаете!» – думал я в этот момент. Мысль эта, хоть и краткая в своем выражении, настолько захватила меня, что я, видимо, потерял всякое представление о времени. Отвлекло меня некое царапанье и повизгивание за дверью моей комнаты. Я очнулся, глянул в окно. Поздний вечер стоял на дворе, зажглись уже уличные фонари, что в начале лета происходит довольно поздно. Царапание и повизгиванье продолжались.

– Мартин! – подумал я. – Ведь его, бедного, еще не выводили гулять!

Встал с дивана, открыл дверь. Песик не бросился ко мне, но стоял у самой двери. А между передних лап его

примостилась алюминиевая миска, полная вареных овощей с мясом. Щенок глянул на меня, словно оказал:

– Поешь!

– Вот тебе и рефлексы! – подумалось мне. Нет, уважаемый академик, тут уж мышлением попахивает!

Прошла весна, отшумело зеленое лето. Мы с моим подросшим и окрепшим дружком уезжали частенько на взморье, бродили там среди смоленых рыбачьих лодок, шуршали выброшенными на песок сухими стволами мертвого тростника, спотыкались об узловатые, сиреневого отлива корни вековых сосен, росших по побережью. А потом находили киоск, случайно открытый; я кормил пса холодной котлетой, а сам выпивал стакан недорогого вина, и глядел в реденькую даль морскую, столь загадочно-невыразительную в эту часть года.

Потом он по команде «апорт!» приносил далеко заброшенный сук, вынутый из оставленного кострища, с одной стороны обгорелый, и смотрел мне в глаза с таким разумным и доброжелательным выражением, какого я не встречал ни у одного из своих приятелей, ниже́ сослуживцев. Замечу: в сочетании наших взглядов наблюдалась столь полная гармония биотока, что временами я чувствовал в себе цельную, нескандальную душу взрослеющего щенка, а он... впрочем, о его мыслях и ощущениях трудно судить.

Вспоминая подробности тогдашнего октября, я теперь удивляюсь поразительной, пронизанной холодеющим светом ясности, которая его отмечала. Этот острый и тонкий присвет прощальности предназначался не мне, но моему спутнику, ибо для него это была последняя осень его жизни, но, видимо, в силу слиянности наших душ, и я

что-то такое почувствовал. И когда придет моя последняя осень, мой октябрь, я узнаю его по тем же приметам, в подробности которых не стану входить, дабы не растерять их, высказав, и не посеять излишнего страха во многих беспечных душах.

Однажды, это было в конце октября, мы возвращались домой из поездки на взморье. Погода была пасмурная, сеял реденький дождь. Наступал вечер. По выходе из автобуса я спустил Мартина с поводка. По-заячьи занося вперед передние лапы, он понесся к нашему дому. И когда завернул за угол, я вдруг услышал протяжный собачий визг. Со всех ног кинулся я на помощь. Пес как-то боком присел на обочине, поджав под себя переднюю лапу, из которой лилась темная кровь, и, смешиваясь с мутной дождевою водой, убегала в соседний люк. Рядом стояла и гнусно фырчала белая продолговатая коробочка скорой помощи. Я бросился к раненому щенку, пронзительно визжащему от боли, и взял его на руки.

– Ты бы смотрел за своей сучкой, четырехглазый! – услышал я тонкий скрипучий голос из кабины труповозки. А то как любиться, так вы первые, а как присмотреть...

– Милостивый государь! – обратился я к сморщенной личине в граненой кожаной кепочке, – сожалею, что у меня руки заняты. Не будь мой кобель ранен, не требуй он срочной помощи, мы бы вас в два смычка обработали... Так что извольте крутить педали...

Кровь натекла мне на плащ. Я повернулся и бегом побежал по лестнице, не дожидаясь где-то застрявшего лифта. Пес перестал визжать, а только дрожал. Заревела и сгинула карета скорой помощи, черт бы ее побрал. Лапа у пса не была сломана, но кожа порвана до кости...

С этого случая маленький друг мой, увы, заскучал. Погасло выражение легкого юмора в глазах, сменилось оно выражением тайной думы. Нет, не угрюмым стал его взгляд, но слегка вопрошающим.

– Как? Неужели бывают жестокие наказания без вины? – казалось, спрашивал меня весь его вид – чуть обвислое выражение губ, лап, хребта.

Что я мог ответить ему? Ничего. Так же, как и себе. Нога его вскорости поджила, но он так и не обрел прежней бодрости. Прожили мы долгую и тоскливую зиму. В нашем климатическом поясе зимою дня, практически, не бывает. Веют какие-то холодные сумерки, проникая сквозь тайные щели окон, гася жизненные процессы. Вялыми и ненужными становятся слова и мысли. Научные изыскания меня уже более не занимали. Снова часами валялся я на диване, накрывшись пледом, а в ногах моих, согревая их своим телом, лежал мой верный Личарда. Иногда он протяжно зевал и задремывал. Я же внимательно изучал тонкие трещины на потолке, угадывавшиеся на стыке двух перекрытий. – Когда-нибудь шов разойдётся, – думалось мне. – И в комнату беззвучно скользнут голубые плиты. А света мы все равно не зажжем, мы полежим себе тихо, не жалуясь и не скуля, пока не охватит нас легкое забытье...

С трудом поднимался я к ночи, чтобы вывести Мартина на прогулку. Мы недолго бродили по пустому, пронизанному зимним ветром двору. Нам обоим хотелось домой, согреться. Слабо шипели внутри подсевшие батарейки...

Вскоре он заболел уже по-настоящему. На Новый год я приготовил своему псу подарок – отличную мозговую

кость, тщательно выбранную в соседнем универсаме. Пришел на кухню. Вымыл миску. Положил туда кость, щедро облепленную красным коровьим мясом. Позвал собаку. Волоча уши по полу, она подошла к миске с лакомством, понюхала, понюхала, и, виновато повиливая лопатками, ушла на свою подстилку, легла. Тут я уже испугался по-настоящему.

Я взял Мартина на руки и стал внимательно рассматривать его похудевшую морду. Ничего необычного, кроме красных прожилок в его глазах, я не заметил. Наутро позвонил к известному в городе ветеринару.

– Алло, Петр Захарович? Мне неудобно вас беспокоить... Я владелец одной собаки... Она, кажется, заболела...

– Порода?

– Спаниель. Ему еще года нет...

– На этой неделе я занят. Позвоните на следующей.

– Но он пищи не принимает!

– Поите горячим молоком. Как сосунка.

Ну и навозился я с Мартином в последующие дни. Сам кормил его с ложки, не из рожка. Выносил на руках на улицу – подышать свежим воздухом. Он вяло, с каким-то озябшим видом, пробегал по грязному снегу дворовой дорожки и возвращался к скамейке у нашей парадной, где я его поджидал. Норовил забраться ко мне на колени. Я уносил его домой.

Наконец, пришел ветеринар. Я позвал Мартина. Он приковылял в комнату, боязливо поглядывая на чужого ему человека. Осмотр продолжался недолго. Врач вывернул ему веко, сокрушенно покачал головой. Осмотрел нос и губы.

– Так-так, – сказал он. Гайморит. Простуда. Как вы с ним гуляете?

– По часу, без поводка.

– Попону надеваете?

– Какую попону?

– Простую. На вате. А... Вижу, что нет. Какое варварство! Ну, что ж. Мне очень жаль…

Говоря все это, он вращал разрезательный нож на моем столе. Костяной нож, упав, прогремел на паркете. Я поднял его и бросил за шкаф. Ветеринар посмотрел на меня с удивлением – нервы...

– Гулять не выводите. Выпишу вам рецепт.

Я остался один.

– Прости, браток, – сказал я собаке. – Знаешь, у нас даже кошки не заживались.

Псу становилось все хуже, я перенес его подстилку к себе в комнату и не отходил от него ни на шаг. Даже отпуск взял на работе. Поил лекарствами, кормил с ложки. Но он уже почти не вставал со своей подушки.

«Не к тому хозяину ты попал! – думалось мне. – Не к румяному и обвыкшему с песьим племенем утятнику! А ко мне, с дурацкой моей теорией о биотоках и полным незнанием практических черт жизни. Бедные мы дураки!»

В отчаяньи я снова позвонил ветеринару. Узнав, кто его беспокоит, он не стал пускаться в подробности.

– Нет, извините, прийти не смогу более. Болезнь в такой стадии, что собаку спасти невозможно. Ваш пес рассыпется...

Рассыпется! Я долго бранил, умолял телефонную трубку, пока не понял, что давно уже из нее доносятся короткие гудочки отбоя.

Ну, вот, пожалуй, и все. В начале марта он умер. Агония длилась три дня. Глядя невидящими, налитыми ртутным блеском глазами, с трясущейся головой, он рычал на меня, не узнавая. В последнюю ночь забрался ко мне на диван, с помощью уж не знаю каких усилий, перемазав кровавой мочой простыню и пододеяльник...

Жалко о нём вспоминать на старости лет…

*1978 – 2010*

# ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

три рассказа

## ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС

Это было в пору моего шестилетнего соломенного вдовства; я лежал на кушетке в девятиметровой коробке, вознесенной на высоту восьми силикатных непрезентабельных этажей, – в своей комнатке, и дремал.

Внезапно раздался резкий телефонный звонок: я ждал его от подруги, жившей в недалеком по тем временам городе под названием Нарва.

Тело мое было расслаблено по-дремотному, вследствие чего, не успев сгруппироваться, я спрыгнул с кушетки настолько неловко, что вскрикнул от боли – опять раздолбал уже не единожды ломанный голеностоп левой ноги, так что к телефону пришлось ползти. Добравшись до стола, я, встав на колени, кое-как дотянулся до трубки и минут пять болтал со своею кудесницей (в смысле разных постельных штучек), превозмогая жуткую боль и напирая в разговоре на то, что пора ей меня навестить, а уж я ее встречу на «будь готов», с автоматом наперевес, так сказать.

Я ничем не выдал терзавшей мою стопу боли и договорился обо всем. Дав отбой, позвонил своему брату, жившему неподалеку. К счастью, он оказался дома. Будильник показывал полдень.

− Венька! − сказал я ему. − Выручай! Я опять поломал

этот долбаный голеностоп! До травмы дотащишь?

− Голеностоп? − переспросил Венька и характерным образом хмыкнул, из чего я пришел к заключению, что он, несмотря на раннее время, уже «принял на грудь». − Ты мне надоел со своим голеностопом. Ладно, не ссы кипятком, выручим!

Это «выручим» меня слегка насторожило. Значит, братец пьет не один, так что с кем он заявится меня выручать и в каком виде − бог весть.

От Веньки до меня − максимум пятнадцать минут на автобусе, но я прождал часа два, постанывая от боли в стопе и матеря про себя непутевого брата. В сердцах припомнил тот год, когда, можно сказать, ради него своим здоровьем пожертвовал. Работал я тогда халявщиком на лифтах, сутки через трое, да и он себя службой не особенно утруждал. Тогда от красной волчанки в полгода сгорела его жена-журналистка. Я был у нее в больнице: она вымученно улыбалась, поддергивая длинные, не по росту, рукава застиранного больничного халата и ведя светский, не по ситуации, разговор. В глазах ее стоял страх приближающейся смерти.

Она лежала в отдельной палате, и брат потом жаловался мне: «Понимаешь, она говорит − давай, нам никто не мешает, а я не могу − от нее больницей пахнет!»

Были у него кое-какие сбережения, заработанные фотоаппаратом, которым он владел в совершенстве, и, похоронив Катю, он по-черному запил. Каждое утро звонил мне домой или на работу (ситуация позволяла) и бежал в магазин.

Работал я на точке, которая находилась между его жильем и моим; обходил дома, одинаковые белесые девятиэ-

тажки, и запускал остановившиеся лифты. Было дождливое лето, смутно и отвратительно пахла какая-то неизвестная мне аллергенная травка на газонах, по асфальту ползли обильные, будто разбредшиеся из решеточки мясорубки, красные выползки; на душе было мерзко. От меня, в свою очередь, уехала в Киев жена, слюбившаяся на работе с одним мультипликатором; мы так рассудили, что все порешим, когда она вернется через месяц из Киева... «Но вообще, − говорила она, − ты подумай о самостоятельной жизни, я чувствую, что тебе не нужна, а тот человек, которому я нужна, ждет меня. В общем, приеду − поговорим!»

Я почему-то жутко боялся встретиться с человеком, которому моя благоверная, видите ли, нужна: боялся, что задушу его голыми руками.

А тут приходил еще более разнесчастный Венька, глядел на меня многозначительным взглядом, на дне которого притаилась толика потомственной сумасшедшинки, со вкусным хрустением свинчивал пробку натуральной «Московской», и день начинался...

Мы шли на окраину Веселого поселка, оседлывали заброшенную железнодорожную ветку, поросшую густою ракитой, доставали из холщовой торбы с портретом Демиса Руссоса, толстого греческого кастрата, очередную полбанку, расставляли простую закуску – хлеб и «отдельную» колбасу, и вспоминали наше говенное детство, полное школьных и семейных неурядиц.

Брат был ладен фигурою, невысок, но красив; был он к тому же, в отличие от меня, чистюлей. Читал он поменьше, чем я, но достаточно для того, чтобы навешать лапши на уши любой смазливой девчонке. Помнится, он

закадрил в «Сайгоне» высокую и видную собой девку из Института киноинженеров и подарил ее мне, не пользуясь. Чем окончательно погубил мой висевший на волоске брак. Однажды летом она ночевала у меня на лифтах; я энергично заталкивал в нее свою скрытую боль и растерянность перед жизнью, не забывая при этом получать удовольствие, и вдруг, перед самым концом, услышал звонок в дверь двухкомнатной квартирки, в которой размещался наш лифтовой пульт.

«Опять какая-то падла в лифте застряла!» – подумалось мне; я кое-как набросил на себя первое попавшееся шмотье и подошел к двери.

− Кто там? − спросил я, не испытывая дурного предчувствия.

− Соня! − послышался голос моей неверной жены. − Я тебе подарочек принесла.

− Подожди, я не один! − ответил я дрогнувшим голосом. Одевшись потщательней, вышел на лестничную площадку. Вид у меня был распаренный, сквозь расстегнутый ворот куртки просматривалась нагольная тельняшка; взглянув на нее, жена усмехнулась горько и вместе с тем удовлетворенно.

− Обрадовался? − спросила она. − Почувствовал себя на свободе?

И бросила мне в лицо столь дефицитные в те далекие годы новые кожаные перчатки. А потом заплакала и ушла, уже навсегда. Я принял вызов (то есть перчатки, брошенные мне прямо в лицо) и вернулся в помещение пульта, но любовью заниматься уже не мог; отправил свою красивую Юлию на хаус, а сам, порывшись в карманах, набрал искомую сумму денег и двинул на волю, в сонмище призрачно-белых над

уличными фонарями домов, за ночною полбанкой.

«Что ж она телеграмму-то не прислала? Я бы встретил!» – рассуждал я в растерянности, ежась от закапавшего по-новой дождя и с тихим хрустом давя разгулявшихся по ночному асфальту выползков.

Память о той несчастной поре хранит фотография, сделанная Венькой: я сижу пригорюнившись, в черном драповом пальто, среди изломанных, брошенных прямо на газоне стеновых блоков, и лицо мое истончено горем. А в ту ночь, вернувшись в дежурку, я включил проигрыватель, поставил пластмассовую пластинку на круг, вскрыл поллитру и слушал одну и ту же песню из кинофильма «Ирония судьбы»:

Благословляю вас,
Благословляю вас,
Благословляю вас на все четыре стороны...

Слушал и давился рыданиями. Такой вот сентиментальный подлец.

В общем, попали мы с братом в один забулдыжный резонанс, отличавшийся солидной, доложу я вам, амплитудой.

Квасили в разных симпатичных местах нашей сирой окраины: на берегу Невы, рядом с лодочной стоянкой, расположившейся неподалеку от железнодорожного моста; в поросшем тонкоствольной березой саду заброшенных по летнему времени яслей где-то в районе Гранитной улицы. Пили мы так, что только моей относительной молодостью и крепостью можно объяснить тот факт, что я уцелел; брат, который был старше меня на пять лет, выжил лишь

силой своего неизбывного горя.

Когда его сбережения кончились, Венька стал продавать лишнюю, по его мнению, фотоаппаратуру; так мы прожили год.

Времена были совсем небогатые, так что брошенные шмо́тки покинувшей меня супруги, которые я раздавал «сайгоновским» девкам, принимались охотно.

Венька стал как будто бы успокаиваться. Я уже за него не боялся и потихонечку вильнул в сторону; впрочем, привычка крепко выпить за мною осталась.

Знакомые интеллигенты поставили на мне жирный крест, да и, честно признаться, не в этой среде, тщеславной и суетной, было мне ждать сочувствия; результатом моих полубомжовых скитаний по котельным, сторожкам, случайным небезопасным хазовкам стала короткая повесть, сразу выдвинувшая меня в ряд заметных писателей петербургского андеграунда; впрочем, об этом – как-нибудь после.

Вернемся ко мне на кушетку: сильнейшая боль в стопе терзала меня часа два, пока не раздался звонок в дверь.

Как я и предполагал, брат явился спасать меня не один: из-за его плеча выглядывало остренькое, красно-серое от мороза, будто только что снятый с пожарного щита топорик, лицо Синочкина, известного в алкогольных кругах городского поэта.

– Мишка! Болезный! Как тебя угораздило? – с порога зашустрил Синочкин.

– Любовница позвонила из Нарвы, а я спрыгнул с кушетки – и на тебе! Что вы так долго телепались?

– Не боись! Вмиг доставим! – сказал брат. – Сейчас отзвоню в такси! Пока мы ждали такси, я спросил у Синоч-

кина, глядя на его высокую худую фигуру снизу вверх:

− Как живешь? Кем работаешь?

Синочкин тонко, но чуть бессмысленно от принятой дозы алкоголя усмехнулся.

− При Оптинском подворье кантуюсь, − сообщил он. − Ну, ты понимаешь − подворье... Как бы чего бы подворовать...

− Хорош! − сказал я и умолк. Как-то не принято было в нашем кругу глубоко влезать в чужие дела.

Стоявшая в Петербурге зима напомнила о себе снежным зарядом, с тревожным дребезжанием ударившим в стекло моего окна. Зазвонил телефон. Коротко поговорив, брат сообщил:

− Надевай шубу. Такси идет − от Володарского моста.

«Ты б еще от Уткиной заводи вызвал!» – подумалось мне, но я промолчал. Раненому командовать не пристало.

На одной ноге − ботинок, на другой − тапка, под мышкой − палка, выпрыгнул я из дома, опираясь на неверные плечи своих спасителей. Скоро подкатила машина с хмурым водителем за рулем. Накинутая мне на плечи шуба не спасала ни от ветра, ни от забивающегося за пазуху снега.

В это время из ближайшего подъезда девятиэтажки, стоявшей перпендикулярно нашей, послышались звуки музыки. Дверь распахнулась и гулко ухнула на обратном движении, выпустив на простор необъятного двора невысокого мужичка без пальто, но в треухе, посаженном набекрень; не обращая внимания на окружающую обстановку, мужичок, наигрывая на гармони «Барыню», пошел по дорожке вдоль дома, слегка покачиваясь; музыка была однообразная, механическая, как если бы играла шарманка.

Гармонист дошел до последней парадной и, уже густо посоленный снегом, скрылся, не переставая играть, – ему не помешали даже манипуляции с открыванием двери. Мои проводники завороженно отследили эту жанровую сценку.

– Посадку совершим? Счетчик тикает! – сказал шофер.

Кое-как мы влезли в бесцветную «Волгу» с антенной на затылке. «Волга» вырулила со двора и помчалась по недостроенному, с провалами сирых болотистых рощ, Искровскому проспекту.

В «травме», как всегда, очередь была несусветная – часа на четыре. Разного возраста граждане с переломами, ссадинами и ушибами, в темной советской одежде, терпеливо сидели вдоль длинного, плохо освещенного коридора, пребывая в какой-то особой прострации, с которой, наверное, знаком лишь наш человек, помотавшийся по поликлиникам и собесам. Кое-кто тихо стонал.

– Граждане, пропустите без очереди! – громогласно протрубил Синочкин. – Человек пострадал от большой любви – сломал ногу при половом акте! Нуждается в скором оказании помощи!

– Ишь, чего захотел! – ответила старушка в накинутом на плечи пальто, с рукою на перевязи. – Много вас тут таких, вездесуев! Занимай очередь!

– Но, мадам, вы не понимаете... – продолжал базлать Синочкин, и я злобно толкнул его здоровой ногою: «Замолчи!»

Я сел на последний по коридору стул, поставив между ног инвалидную, с ребристым пластмассовым крюком в навершии, трость.

– Скучно так ждать! – сказал Венька. – Может, при-

нести тебе чего, для сугрева?

− Хочешь, чтоб меня отсюда на «раковой шейке» отвезли? – спросил я угрюмо.

− Не люблю обывателей и мещан! − гордо ответил брат.

− Ладно, романтик, я тут посижу, а вы заходите за мной часа через два. Учтите − мне одному назад не добраться!

Посмеиваясь, они ушли на вьюжную улицу. Я сидел у завешенного крупной ржавой сеткой окна и видел их смутные фигуры на скучной улице, слышал бодрые возгласы, в которых чувствовалось предвкушение близкого кайфа.

«Зар-разы!» − подумал я и вдруг задремал под мерные стоны и тихий говор ожидающих помощи. Боль в ноге немного утихла, а вернее − стала привычной.

Мне снилось лето семидесятого года и наш роман с покинувшей меня женой. Она тогда жила в Киеве, мы летали друг к другу на самолете; однажды я даже договорился с пилотами, чтоб они провезли меня без билета в кабине «Ту-104». В те годы об угонах еще не слыхали, и такое было вполне возможно. Однако пробираться в лайнер предстояло мне самому.

И вот, когда самолет уже был загружен, перед трапом собралась изрядная толпа непопавших; я, тем временем, почему-то пытался заговорить со строгим, средних лет джентльменом с «дипломатом» подлинной кожи в правой руке.

− Неужели не попадем? − спросил я его.

Он холодно посмотрел мне в лицо и ничего не ответил. Это и подтолкнуло меня к решительным действиям. Трап был пуст. Дежурная ушла куда-то внутрь, в полной

уверенности, что не найдется нахала, который полезет в самолет без ее позволения. Но такой нахал все-таки нашелся. Каждой клеточкой спины ощущая вперенные в нее взгляды, как ядовитые стрелки амазонских охотников, я поднялся по пустому трапу и сиганул в передний отсек. Чтобы не маячить в проходе, тут же присел рядом с молодой красивой женщиной в белом пальто.

− Молодой человек, вы, наверное, ошиблись − тут занято! – сказала она мне тоном, в котором за благоприобретенной вежливостью скрывалась изрядная доля социальной брезгливости.

− Знаю, − спокойно ответил я и отвернулся. Выждав несколько минут, я встал и пошел по проходу в кабину самолета. Были же времена! Меня никто не повалил, не повязал и не застрелил. Через несколько секунд я был в пилотской кабине. Туда уже просочилась парочка молодых людей, по виду − студентов. Летчики не обращали на нас ровно никакого внимания. Ниже всех, в стеклянном (включая и пол) колпаке, расположился штурман. Дядя, с которым я договаривался, оказался вторым пилотом. Он уже сидел рядом с первым, имея на шее ненадетый пока шлемофон. Он сказал мне: «Садись на ступеньки!» И я сел на одну из ступенек, ведших вниз, к пилотам, ибо вся кабина располагалась ниже салона для пассажиров.

Ни до, ни, тем более, после не получал я такого удовольствия от полета на самолете. Обзор был великолепный − не то что сквозь иллюминаторы. Тени от облаков, пролетавшие мимо становившихся с набором высоты все более призрачными полей; маленькая серебряная рыбка другого самолетика, меньшего, чем наш, превратившего поверхность земли в морское дно, вдоль которого он мед-

ленно плыл, высматривая нечто в скоплениях водорослей-деревьев; блещущие полированной сталью ятаганы речных излучин – все это было незабываемо!

Будучи уже немолодым человеком, я все раздумываю: как проходит любовь? Как то нежное, то трепетное и неуловимое, словно аромат с излома корневища калгана, простой лесной травки, высыхает и улетучивается? Как, всегда встречаемый в Киеве объятиями и поцелуями, и сатанеющими от счастья глазами, я стал ненужен и нелюбим? В чем скорбная тайна этого биологического процесса? Сие мне неведомо, потому что я сам любимых не разлюблял, даже если и привыкал к ним физически, – это все они, стервы. И боль, которую я испытывал, так и останется для меня тайной в своей иррациональной причинности.

Пока я подремывал в «травме», сладкая парочка вернулась уже сильно на взводе.

– Ну, что ты сидишь? – на весь коридор заорал Синочкин, ткнув меня по больному голеностопу, возможно, нечаянно. – Быстро беги вправляй ногу! Граждане! – обратился он к людям, терпеливо ждущим починки. – Он на прием к митрополиту записан! Время поджимает! Пропустите советника по литературным вопросам!

– А вот мы сейчас милицию вызовем! В отделении вас и отчитают, и отпоют! – бойко ответила ему забияка-старушка, спокойно поправляя полукруглый пластмассовый гребень на прямых волосах. – Совести у вас нет!

– Он – работник ООН, – заявил Венька. – Ему положено ногу вправить – прямо сейчас!

– Ух-ходите! – прошипел я. – Жду вас на выходе через час!

Ребята ушли и больше не появились. Кое-как напя-

лив на свежий гипс домашнюю тапочку, я отправился на вьюжную улицу. Ни Синочкина, ни Веньки нигде не было. Уже горели подсушенным синим светом уличные фонари. Я попрыгал на одной ноге к остановке трамвая, поскользнувшись, упал на спину; выронив трость, долго ползал по тротуару, ее вылавливая, а потом, осторожно ступая на крошащуюся загипсованную стопу, все же доковылял до остановки. Кое-как добрался до дома.

«Ну и подлец! − думал я о брате. − Это ж надо, бросить беспомощного человека! А еще − родная кровь, называется!»

Ну, а к вечеру все наладилось. Приехала из Нарвы виновница происшествия, румяная с мороза, ироничная и деловая. Сбегала за бутылкой, вскрыла привезенную с собой банку консервов из лосиного мяса. Мы выпили, поболтали, легли. Я уткнулся носом в ее горячее плечо и тихонько захныкал. Мне было жаль всех: и тех болезных в травматологическом пункте, и себя, и своего несчастного брата. О Синочкине я как-то забыл, а зря: он ушел первым − выбросился из окна, но умер не сразу, а еще с неделю промучился в хосписе, его устроил туда тесть из военных.

Брат мой умер всего год назад. Помню его неживое лицо с выражением несколько высокомерной брезгливости – выражением, которое столь характерно для лиц еврейской национальности, особенно – в пожилом возрасте.

Тайны любви за прошедшие годы я так и не просек − подозреваю, что постичь ее хотя бы в общем, рамочном смысле мне в этой жизни так и не приведется.

# МАЛЕНЬКИЙ ЭКСЦЕСС ЭПОХИ ЗАСТОЯ

В наши дни, когда улицы города превратились в сплошную автомобильную пробку, уже чисто литературно воспринимаются такие обыденные понятия, как «синий снег», «чистый воздух». Право, на пажитях Петербурга стало просто нечем дышать!

А ведь нас ментовали, сажали в психушки, даже мочили – уж не говорю, что замалчивали! – в относительно сносной экологической обстановке.

Так нечего и Бога гневить – жизнь была молодая и сладкая. А какое роскошное случалось иной раз похмелье – ну просто люкс! Выходишь на заснеженную Дворцовую площадь, где жужжат, как жуки, бульдозеры, сгоняя снег концентрически, все ближе к Александрову постаменту, и каждый нервик, как струна стострунной гитары, вибрирует, отзываясь на грань земли и небес, точно на медиатр, остро реагируя на пышущую силой квадригу над аркой Главного штаба, натягиваясь, словно на колок, на стройный купол штабной библиотеки.

Однако некоторые эксцессы все же бывали. Как-то я поехал в один из выходных в город Павловск – посмотреть на зимнюю роскошь царских ландшафтов. Отправился я туда не один – прихватил двух вертких и складненьких травестюшек из самодеятельного театра «Акмэ».

По дороге черноокие девушки, с одинаковыми смешными косицами не по возрасту, хором пели песенку:

Травести, травести,

И смеялись, зыркая острыми черными глазками по сторонам. Чем-то, а именно: нравом озорным и беспечным, птичьим щебетом своим, инстинктивною ласковостью – они напоминали мне гейш из какого-то японского фильма.

Мы катались на санях, в которые были впряжены распаренные лошади с бубенцами, кидались друг в друга снежками, пили из горлышка темный, горчащий на губах вермут.

Погода стояла бессолнечная, мягкая, но не склизкая; небо было прикрыто ровной пеленой облаков. Я, конечно, болтал без умолку, да и они не оставались в долгу, щебетали не переставая. В музей мы не заходили – было так хорошо на природе – в этом окультуренном большими спецами пространстве, созданном для жизни привольной, изысканной и, при желании, многодумной.

Я чувствовал, как проскакивают меж нами токи взаимной влюбленности – сладкие, восхитительные флюиды.

Возвращались обратно на электричке, немного усталые, томные. По дороге одна из девчушек, Зизи, предложила заехать к ней на Петроградскую, согреться и выпить кофе.

Она была владелицей небольшой квадратной комнаты окнами во двор, главным украшением которой была большая медная люстра с синим шаром, расписанным белыми цветами в стиле модерн. Ляля, подружка Зизи, сноровисто накрыла большой круглый стол чайными чашками, сахарницей и сухарницей из мельхиора, наполнив ее мягким и жирным печеньем. Кофе в доме не оказалось, и мы пили чай, ведя бездумную, ласковую беседу.

Потом вышли из-за стола и уселись, не сговариваясь, на диван (я – посередке), несколько отдохнуть. Обе девушки закрыли глаза, наслаждаясь покоем. От обеих пахло чистым и трогательным потом – из-за теплой одежды и долгой прогулки на воздухе.

– Как хорошо... – почему-то прошептал я и поцеловал Зизи в щеку. Потом повернулся и чмокнул родинку на щеке Ляли. Девушки ровно дышали, не возражая. Тогда я стал гладить их нежные ляжки. Обе задышали почаще, но глаз не открывали. Я поднялся с дивана, встал на колени и полез обеими руками под свитера – к их мягким, таким трепетным, атласным грудям. Игра в четыре груди продолжалась довольно долго, пока девчата не завелись и не стали мне отвечать взаимными тихими касаниями. В общем, все получилось, как никогда. Сплошное «акмэ». Но еще не эксцесс.

Иногда мне приходилось работать в котельной. Это была сплошь покрытая въевшейся сажей тесная точка, из которой я частенько сбегал, и надолго. Самое смешное, что котельная отапливала огромное, отделанное грубо отесанным гранитом, здание на углу Невского и улицы Гоголя.

В тот памятный день я ушел со смены на несколько часов раньше, как всегда понадеявшись на аккуратного сменщика. Завалился спать на своей кушетке и дрых где-то до часу дня. Разбудил меня телефонный звонок. Я снял трубку с аппарата, стоявшего на полу, и услышал звонкий такой девический голосок.

– Алло!

– Алло! Это Ляля? Зизи?

– Михаил Анатольевич? – Обращение звучало до-

вольно официально. – С вами говорят из приемной треста «Теплоэнерго». Генеральный директор, Панкратов Михаил Иванович, просит зайти к нему на прием – завтра, в полтретьего.

– По какому вопросу?

– Завтра узнаете. Только, попрошу, не опаздывайте.

«Ну и дела, – думал я, протирая заспанные глаза. – Всего-то свинтил раньше на пару часов – уже к генеральному! Из пушек – по воробьям. Буду косить на зубную боль, а если не поможет – ну что ж. Котельных в городе много».

Не скажу, что время до назначенного визита я провел совсем уж спокойно. «И чего им приспичило? – думал я. – Ну, позвонил бы мастер участка, натолкал матюгов, лишил прогрессивки! А тут – секретарь генерального... Подозрительно...»

Встреча в кабинете директора оказалась не по чину торжественной. В этом, весьма просторном, помещении, украшенном какими-то графиками и портретом красивого Брежнева за спиною директора, собралось человек пять – как оказалось, вся головка крупного даже по городским масштабам предприятия. Парторг Пудовкин, профсоюзный босс Завалишин, какой-то Ястребцов, отрекомендовавшийся депутатом райсовета, и парочка пожилых теток без речей.

Глава фирмы, выдержав паузу, порылся в бумагах и, махнув мне садиться с торца полированного, с железными ногами, стола, торжественно произнес:

–Михаил Анатольевич! Мы тут ознакомились с вашими документами и решили сделать вам предложение. У вас какое образование?

Я вовремя вспомнил, что, нанимаясь на работу, скрыл свой университетский диплом.

– Средне-техническое, – ответил я.

Широко улыбаясь, генеральный, мужчина толстый и низкорослый, потер свои пухлые ручки и сказал:

–Так что ж вы простым оператором работаете? Зарываете в землю свою квалификацию? Предлагаю вам должность мастера!

«Тут что-то не так! – решил я. – Наверняка сведут речь к самиздату!» И, потупившись, пробубнил:

– Это меня ни в коем случае не устроит!

– Почему, позвольте полюбопытствовать? – спросил генеральный.

– Мне нужно свободное время, – сказал я, поднимая глаза. – Если это вам не годится, могу подать заявление...

– Ну что вы! – всполошился директор. – Так мы вопроса не ставим! А зачем вам свободное время?

Я ударил, фигурально выражаясь, веслом и направил лодку нашего разговора в самую быстрину.

– Дело в том, что я сочиняю. И режим «сутки через трое» для меня – в самый раз!

Тут вмешался в разговор Ястребцов, и по тому, с какой свободой он это сделал, я понял, что предо мной – не простой «депутат райсовета».

–Так почему же вы не печатаетесь в советских журналах? – спросил он. – Самое простое решение!

–Это вам так кажется! – парировал я. – А на самом деле – попробуй сунься!

– Так вы собираетесь печатать свои произведения на Западе? А не боитесь, что их могут использовать наши враги?

Я выдержал паузу, соображая: «Ага, к ним залетел

Сотский, со всеми собранными по городу рукописями! То-то он не подавал вестей из Москвы!»

– И в мыслях не держал! – ответил я «депутату».

– У нас имеются сведения, что вы собирались составить организацию, под видом литературной, и печатать свои вещи на Западе!

«Ну и загнул! Эк, стращает! Организация!» – подумал я. А ответил вполне невинно:

– Никакой организации быть не может, это я вам ответственно заявляю! Ну, приезжали ребята из Москвы, просили рукописи для ознакомления. Вот и все!

Ястребцов как бы поставил в своем офицерском мозгу галочку.

– Вы что-нибудь слышали о клубе «Лира-79»? – спросил он. – Членство в нем дает большие возможности! Можно будет читать что хочешь на публике, а там, глядишь, и печататься!

– Что-то меня не привлекает хождение строем! – ответил я. – Как-то привык жить в особицу!

– Ну, это зря, – сказал Ястребцов. – Извините, товарищи, у меня с Михаилом Анатольевичем разговор с глазу на глаз. Куда можно пройти, товарищ Панкратов?

–Так если разговор конфиденциальный, – снова улыбнулся директор, – прошу в мою личную комнату!

Ястребцов открыл дверь за спиной у начальника, как раз под портретом Брежнева, и поманил меня за собой. Мы вошли в небольшую комнатку с полукруглым окошком, рама которого расходилась веером, и «депутат» затворил за собою дверь. В руке у него был толстый портфель.

– Надо же! Богато живет начальство! – сказал он, ука-

зывая на стоящий на застекленной тумбочке с бокалами и чайными чашками редкий по тем временам видеомагнитофон. – Коньячку не хотите? Я слышал, вы армянский предпочитаете. Заодно кинишко посмотрим...

– Не откажусь! – сказал я и потер вспотевшие ладони, инстинктивно ожидая какой-нибудь подлости.

Ястребцов плеснул мне в бокал коньяку, не забыв и себя. Потом достал из портфеля кассету и вставил в щель «видака».

Сперва по экрану побежала какая-то бесцветная муть. А потом появилось зимнее окно, слегка припорошенное снаружи снегом. Окошко приблизилось, и тут я засек нечто знакомое – массивную медную люстру с синим шаром, расписанным белыми цветами в стиле модерн. Я залпом выпил коньяк. Изображение еще придвинулось, опустилось, и тут я увидел сценку, глядя со стороны, весьма соблазнительную. Как говорили наши достойные предки, «любовь антруа». Снимали, видимо, со двора – из окна или с чердака. Моя «личность» время от времени выплывала из клубка обнаженных тел.

«Странно, когда они распустили косички?» – подумал я. А еще я подумал: «Эх, жаль, что мороза не было! Тогда бы они отсняли цветочки белые – из инея на окне!»

Посмотрев минут пять, я сказал:

– В общем, все ясно! В старину это называлось вторжением в частную жизнь.

– Хорошие в нашей фирме специалисты? – спросил Ястребцов не без гордости. – Какая резкость, сколько динамики!

Он и не думал выключать видак.

– Чего вы хотите? – спросил я.

– Сущего пустяка. Сейчас в нашем городе формируется литературный клуб «Лира-79». Вы туда поступайте, и раз в месяц – отчетики мне из рук в руки – о настроениях, разговорах... Разумеется, не бесплатно.

– Не пойдет! – сказал я. Идти в стукачи для меня было равносильно самоубийству.

– А если мы этот увлекательный фильм кое-кому покажем? У вашего отца, кажется, нездоровое сердце?

«Срываться нельзя! – решил я. – Двину по морде – потом век с гадами разбирайся».

– Предлагаю компромисс, – сказал я. – В этот ваш клуб, черт с ним, поступаю. Но стучать – отказываюсь категорически. Демонстрируйте свой фильм хоть по «Интервидению».

– Ну, вот и договорились! – порадовался за меня «депутат».

Мы вернулись в директорский кабинет. Пожилые тетки смотрели на меня со страхом и жалостью. Подозреваю, они искали на моем лице и руках следы пыток.

Ястребцов обратился к собравшимся:

– Мы тут с Михаил Анатольичем поговорили и пришли к выводу, что в его положении практически не публикуемого писателя стоит пойти во вновь организуемый клуб «Лира-79». Ведь так, уважаемый?

– Да, я согласен! – ответил я. – Почему бы и нет?

– Стало быть, я собрание закрываю! – торжественно объявил генеральный. Чувствовалось, что дел у него до хрена и тратить время на всякую «контру» ему попросту некогда.

На том и расстались.

## ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Помню, как был кратко влюблен в бойкоглазую, оживленную молодую грузинку. Она так очаровала меня, что я, провожая ее и компанию – утром – с нашей дачи, подарил ей свежеизданного Вийона, еще кучу редких в то время книжек, в надежде на то, что моя интеллигентная щедрость подействует на нее и она позвонит – да не тут-то было.

Думаю о ней и сейчас – в какой бедности и заботе пребывает она, если не уехала из своего Картвело или не умерла. Вязанка тонких сучьев от дровосека, ветхий двухэтажный дом с галереей, сухая фигура в черном, совершенно лишенная обаяния – только строгость, сознание долга и слепое упорство, забота о детях, о муже, о близких ей гордых грузинских людях.

Все на той же родительской даче в Кобралово прекратились еще две мои короткие влюбленности: в прекрасную шестнадцатилетнюю армянку, брат которой теперь заседает в Государственной Думе, и в черную, блестящую волосом, как хромовый сапог, и такую же тупую еврейку, единственную из троих подпустившую меня к своему телу, оказавшемуся белым и плотным, как ватман, и столь же пассивным по отношению ко всем моим начинаниям. Не дача, а кладбище несбывшихся грез.

Именно здесь однажды меня ждали целых три дня – загулял с Серегой Довлатовым, но тогдашняя жена моя нехило мне отомстила, тем же летом не явившись в Кобралово

ночевать, и птицы раннего утра, певшие райскими голосами, зря старались – то злое от нещадного солнца утро обозначило полный кирдык, выражаясь по-современному, нашей – бывшей или не бывшей? – любви. Помнится, в кронах яблонь плавали медленные стрекозы, знаменуя покой и порядок равнодушной природы.

Да... Или вот, приезжал ко мне молодой поэт и историк Сигизмунд Чашба. Приезжал он в Питер порыться в обширных книгохранилищах и архивах, Мы его звали попросту – Сиг. Он был человек невысокий, но ладный, с умным и красивым лицом.

Научные изыскания были для него, отчасти, предлогом, а подлинной причиной частых приездов была страстная любовь к одной матери-одиночке, выдающимся образом привлекательной и красивой, но вредной девушке Кире.

Вспоминается одна новогодняя ночь, которую мы проводили у Киры. Сиг пил водку так, как никогда не пьют кавказские люди, – стаканами. А все – от отчаяния, в которое ввергла его эта вредная девушка. Били куранты на Спасской башне, что-то мямлил стареющий косноязыкий генсек, мягкий снег шуршал по окну, выходившему на тихую, какую-то провинциальную в этом месте Фонтанку.

– Понимаешь, бывают какие люди, – говорил мне Сиг слегка заплетающимся языком. – Мне просто странно и непонятно – какие поступки позволяют себе некоторые из некоторых людей...

Кира сидела спокойная, отрешенная, и я в который уже раз убедился, что красивые люди не сознают таинства своей красоты, не понимают ее значения – ну, как всякий, говорят, человек не слышит тембра своего голоса; иначе она бы его пожалела. Между тем на Сиге лежит

большая ответственность за ту герилью, которая разразилась в местности райской – в смысле климата и природы; тут не могло обойтись без его организационных усилий. Я давно потерял с ним связь, но по слухам – он уехал в Австралию.

Вспоминает ли Сиг заснеженный Петербург? И если все-таки вспоминает, со слезами ли умиления, или с проклятиями? Об этом может знать только Кира, живущая в городе Мюнхене, да он сам.

То ли дело мой друг Гешка Гельбах, обосновавшийся в котельной на Съезжинской, со всеми своими удобными причиндалами: свежими журнальчиками, магнитофоном, компактным ноутбуком и пряниками! Не отходя, как говорится, от кассы, он стал окучивать приглянувшуюся ему немолодую, но стройную девушку. Выражение его глаз становилось каким-то торжественным, когда он о ней вспоминал, – так был врезамши в эту, во всех отношениях достойную его, пару. И – уговорил! Несколько лет продолжался их производственный, если можно так выразиться, роман, пока не иссяк по довольно банальным, широко распространенным в жизни причинам.

С годами иссякла и наша обоюдная тяга друг к другу. Увы, все в этом мире кончается. И теперь мы далеки друг от друга, как если бы он уехал на Северный полюс и остался там на веки вечные. Я уже почти не грущу, вспоминая минутами его хмурую, но обаятельную улыбку. Суум квикве! – как говорили древние.

Последний раз я его видел на отпевании Вити Кривулина. Стоял светлый весенний день, поп размахивал кадилом, а Виктора уже не было между нами – только в центре толпы, на возвышении, среди цветов, смутно темнели его покинутые душой останки.

Смерть и не-смерть. Mort и a-more. Тесно сотрудничая, оплели они все человеческое пространство!

В Ленинграде, на Невском, есть телефонная будка,
А на ней нацарапано какое-то женское имя.
Я могу подарить вам любые на свете буквы,
Только эти четыре оставьте моими!

Эти четыре буквы означают короткое имя – Маша, а не то, что вы, возможно, подумали. Виктору было лет девятнадцать, когда он написал эти – сохранившиеся ли в письменном виде? – строки. В первые годы шестидесятых он был юный, кудрявый, влюбленный. Бороды еще не носил.

В те годы я неровно дышал по отношению к девушке, которую звали Люда Петрова. Имя, как говорится, оригинальное. Однажды, выйдя из поплавка под названием «Чайка», мы с ней отправились на ближайшую аллею в парк Ленина. Стояла темная августовская ночь; мы мирно о чем-то беседовали. Неожиданно из ближайших кустов вынырнули два паренька и обсели нас с обеих сторон.

– Ты, керя, можешь идти! – обратились они ко мне. – А девушку нам оставишь.

– С каких это, братцы, фигов? – спросил я. – Мы тут сидим, никому не мешаем... Так и вы не мешайте!

– Слушай, друг, может, это подействует? – спросил один из пареньков, доставая из-за пазухи огромный наган.

Ноги мои задрожали.

– Ну, вот еще! – ответил я как можно спокойнее. – Никуда я от нее не уйду!

Тут вмешалась Люда Петрова.

– Мальчики, миленькие, ну что вы? – сказала она каким-то почти материнским, покровительственным тоном. – Видите – людям вдвоем хорошо? Так и шли бы себе!

Не знаю, как бы дальше разворачивались события, но тут засверкала на аллее одинокая фара, послышалось характерное урчание, и к нам подплыли стражи порядка на мотоцикле с коляской.

– В чем дело? – спросили они. – Вам помощь нужна?

– Нет-нет, – ответила Люда. – Все в порядке! Вы не волнуйтесь! Менты нажали на газ и отчалили. А эти подлые парни снова стали к нам приставать. Но Люда Петрова довольно бойко отшила их, к моему изумлению. Я сейчас думаю: неужели ей так хотелось увидеть меня застреленным, а себя изнасилованной? Не знаю. Но присутствие духа и какой-то легкий цинизм в отношении к людям в ней в тот раз проявился. Что вскоре сказалось на моем дне рождения, когда она ушла гулять с моим другом на улицу, а вернулась с огромным засосом на шее. Кстати, гости принесли мне копченого угря, которого сами и съели. Так я этой экзотической пищи ни разу и не попробовал.

Потом я устроился работать библиотекарем в математический интернат. И такое вот совпадение – окна моей библиотеки выходили прямо на окна Люды Петровой. Но ни ее силуэта в окне, ни ее самой я больше никогда не увидел. Судьба! Ни копченого угря, ни Люды Петровой!

Однажды меня попросили сходить в спальный корпус – у мальчика восьмого, кажется, класса обнаружился приступ падучей – надо было отнести его в машину «скорой помощи», которую уже вызвали.

Я прошел шелестящий листьями двор до спального корпуса, поднялся на третий этаж, зашел в нужную комна-

ту и увидел лежащего на кровати мальчугана с восточным лицом, у которого пузырилась на губах ужасная зеленая пена. Взял его на руки и отнес на первый этаж, прямо на носилки подоспевшей к тому времени «скорой». Оказалось, у него была не падучая. Будучи мальчишкой талантливым в химии и неизвестно отчего сильно затосковав, он из подручных химикатов изготовил цианистый калий и выпил его. Той же ночью он умер в больнице. Фамилия его была – Хашагульдов.

С тех пор я Люду не вспоминал – как-то выветрилась эта чепуховина из головы. Вот только что, сию минуту, вспомнил...

Зато один мой друг, писатель-прозаик, выказал прямо-таки эталонный образец чистой, бескорыстной любви. Дело было в экспедиции, в далекой Туркмении, в горах Копетдага. Мы жили в долине реки Сумбар, в большом кишлаке, отделенном от всего остального человечества; там даже не было телевидения. Но – стояла весна, цвели кроваво-красными цветами насаждения граната, стройные женщины с медными лицами, обрамленными еще более медными побрякушками, закрывали подбородок и губы углом платка, завидев кяфиров – то есть нас с приятелем.

Общаться нам было особенно не с кем, но тут нас пригласили в гости три симпатичные молодые училки, жившие в беленой мазанке, окруженной зарослями цветущих, но еще безлистых кустов и деревьев. Они поили нас слабым зеленым чаем и угощали приятной беседой. Казанская татарка и две сестрицы-азербайджанки были девицами, вообще-то, цивилизованными, закончившими Ашхабадский университет, но чувствовалось, что чаепи-

тие с нами для них – целое экзотическое приключение.

Одна из азербайджанок была очень красивой – с тонкой талией, полной грудью и широкими бедрами – прямо-таки персонаж персидской миниатюры. Я, конечно, глаз на нее положил, но впустую – она была влюблена в какого-то ашхабадского парня, которого считала гением. Старшая сестра ее, менее эффектная, преподавательница английского языка, здорово пела британские песенки, в частности «Битлз».

Йестедей,
Та-да, та-да, та-да фаравей... –

пела она, и я замечал, что у друга моего, настоящего геркулеса, потихонечку едет крыша.

– Фирюза! – говорил он, смеясь и плача, а иногда даже скрежеща зубами, когда мы, расположившись на своих панцирных кроватях, набирались сил после трудового дня. – Ах, Фирюза, душа души моей!

В открытые окна не видно было ни зги, и только журчанье арыка и свежие дуновения с гор свидетельствовали о продолжающемся функционировании мирового пространства.

Потом мы уехали в наш сумрачный город, и Фирюза прибыла к нему, чтоб сочетаться браком, ради чего перекрыла самолетом огромные расстояния. Но привезла с собой условие: либо они женятся, он меняет профессию на более прибыльную (чтоб наплодить побольше детей! – сказала она) и они уезжают куда-нибудь гораздо южнее; либо они, опять-таки, сочетаются браком, но уже чисто фиктивно, чтобы ей выбраться из забытого Аллахом киш-

лака домой, в Ашхабад.

Друг мой остановился (надо отдать должное его приверженности избранной профессии) на втором варианте, тем более что откровенно боялся мусульманских родственников невесты.

– Зарэжут! – говорил он, вращая глазами. – За то, что совратил мусульманку!

Именно поэтому он не тронул Фирюзу даже после свадьбы, несмотря на ее джентльменское, если можно так выразиться, предложение (вероятно, следствие ее английского воспитания). Я подарил им на свадьбу шашлычницу, она уехала, и через полгода прислала моему другу заверенное нотариусом заявление о разводе. Писем от нее не было.

Друг мой выправил какие надо бумаги, с недельку попьянствовал («Фирюза!» – и скрежет зубовный) и стал потихоньку ее забывать.

Где ты теперь, тоненькая азербайджанская девушка, столь трогательно распевавшая в самом сердце Туркестана задумчивые «битловые» песни? Может быть, живешь здесь, в Петербурге, где твой новый муж контролирует какой-нибудь рынок? Бог весть.

Шашлычницу мой друг мне вернул, и я долго пользовался ею, пока она не сломалась.

А один мой дружок, Женька, сын известного в Петербурге поэта, уже несколько лет живет на Святой Земле, – с недавнего времени он стал бомбардировать по Е-мейлу офис нашего общего приятеля письмами такого, приблизительно, содержания:

«Зяблик мой! Никогда не забуду проведенные в твоем обществе очаровательные мгновенья! Сладкий! Как ты

там без меня? Совсем, небось, отбился от рук? А я – помню. Все помню! И нежные касания, и взгляды украдкой! Твой Лысый Пупс».

Ничего «эдакого» между Женькой и моим приятелем, разумеется, не было – просто уж такая у Женьки система юмора. Конечно, учрежденческие тайпистки балдели, принимая подобного рода излияния, и, зардевшись, приносили распечатки по адресу. Наш общий друг чертыхался и грозился при встрече убить шутника.

И все-таки что-то было в этих посланиях трогательное – не мнимая «голубая» любовь, а обычная, чуть стыдливая, дружба, настоянная на разлуке. Не писать же ему, мол, грущу, изнываю без вас, братки мои милые!

*2001*

# ВЕПРЬ УГРЮМЫЙ

Сам я кабан, вепрь угрюмый, а она – козочка, а я мясо ем.

Полоснуть ее клыком по нежному боку, и выесть нутро – для меня, что два пальца... Но я ее люблю в целости, не как голую еду. Запах, конечно, аппетитный... Но – не трогаю. Всего на раз удовольствие.

Она говорит: «Что-то стал ты, Борька, пить горькую. А мне – невтерпеж». И: «Ме-ке, ме-ке-ке..»

А я ей: «Хрюпалы на палы, коробьегр гр-р-р...»

И молчит.

Работаю подметалой: подметаю за тем, кто успел наследить. Говорю: «А вот этот абзац – отгрызите. И следующее. Грязновато у вас получилось. Боюсь – не пойдет...»

Что вы там понимаете! – визжит конопатый подсвинок. – Тут самая хряпа, тут смак, тут чав-чав и мяв-мяв! Чувство чапы вообще вам знакомо?

И убегает, визжа на весь белый свет.

Чапа – это по-нашему, по-свинячьи – гармония.

Вызывают меня по начальству.

– Ты что, говорят, хряк тупой, нам политику портишь? У подсвинка, тобою зарезанного, копыто ты знаешь, где? Вот и кумекай. А, вообще-то, дух от тебя... Какой-то не наш, дебряной, диковатый... Даром, что ты его бардою, да суслом бродильным помалу перешибаешь. А так – гляди, поступай, как подсказано, делай как я, а не то мы к тебе попристальней принюхаемся...

Выходит начальник из-за стола, подступает поближе, и смотрит – зрачки в зрачки... А глаза у него, как у того экземпляра, который из коляски младенца выел...

Ну, я-то тоже не пальцем деланный – гляжу на него с очевидною неприязнью. Мол, не будь ты ментом или кем еще хуже, и не охраняй тебя все политические институты, а вот, например, встреться ты мне на поляне лесной, я б тебе показал...

А у него во взгляде: «Эх, падлы, развели демократию, цирковые порядки! Да где ж это видано, чтоб свинья, тем более дикая, норовила своей смертью сдохнуть? Отправить бы тебя на заготовки! Где вас, вот таких, заготавливают... Впрочем, ты ведь и так все, что сказано сделаешь. Куда же ты денешься?»

Выхожу. Подсвинок мается в коридоре.

– Зайдите ко мне, – бурчу, – только быстро!

Цокает за мною копытцем фарцовой марки с привинченными для форсу подковками – вся контора по первости в коридорчик повылезала: «Это что за явление – дурак подкованный бродит – гремит на весь дом?»

Заходим.

– Садись! – говорю, и зарываюсь в его папку по уши, хрюкаю, чавкаю, даже мычу, как корова. Не тороплюсь.

Эх, ты, – думаю, соплячок-сеголеток, с горошком бы подавать твой мозги, а не в этом бумажном гарнире!

Сидит неспокойно, дергается, будто блохою укушенный.

– Ладно, – бурчу, – подмахну я тебе это дело! – Вынимаю из подставки солидную ручку в виде баллистической ракеты, и крупными буквами назначаю: В ПЕЧАТЬ. ВЕПРЬ УГРЮМЫЙ. Протягиваю папку. Берет.

Дальше – все как по нотам. Сидит, не уходит.

– Ну что, – говорю, – беги, оформляй. А не то секретарша отвалит – в декрет собиралась.

– Я-то мигом, – отвечает, – да вот только одна заковыка... Хотел прежде с вами договориться...

– О чем? – гляжу я на него невинными свинячьими глазками, будто и не догадываюсь. – Вроде мы все дела переделали...

А он хоть и зол на меня, хоть и противен я ему в полной мере, да и кому понравится матерый кабан, просто так уйти не желает. Не полным будет его торжество...

– Борис Харитонович, – говорит, – позвольте вас пригласить в какое-нибудь ближайшее заведение...

– В ресторан, что ли? – удивляюсь я. – А не пахнет ли это взяткой?

– И-и-и, и-и-и... Да что вы! Какие уж взятки! Взятки , это когда ДО. А я приглашаю вас ПОСЛЕ! Пойдемте!

– Уговорил!

Поцокал он к секретарше по коридору, а я разбираю кой-что на столе.

– Молоток! – думаю. – Во взятках шурупишь!

– Возвращается.

– Все, – говорит, – оформил в лучшем виде! Куда бы нам двинуть? В «Ольхов» не желаете?

Ну, а в «Ольхове» – шум и тарарам. Не более часу в очереди промаялись и сидим уже за столом, за грязною скатертью. Оркестр веселенькое наяривает. Официант на задах пропадает. Экземпляры кругом – преотличные. Там – полкан с красивой наводчицей медными пуговками сверкает, там – медвежатник со скокарем про дела тарабанят; веселая стайка мажоров сюда завернула с проспекта, разумеется – вне всякой очереди, перед нами и запускал их швейцар, гнойный пидер; а тут уж, поблизости – мирная троица инженеров премию пропивает.

– Ну-с, – говорит состоявшийся автор, – что пить-то будем, Борис Харитонович, может быть, коньячку?

– Не напрягайся! – бурчу, – ни к чему нам коньяк, лучше водочки!

Подгребает халдей, золотым зубом посверкивает, глазки – щелками: умный; видит – сидят перед ним два пиджачка, что-то там отмечать собираются; такие стольники на стол кидать не будут...

– Салат из помидор, – процедил, – мясное ассорти и котлеты по-киевски. Заказывать будете?

– Значит так. Две порции этого всего, – говорит конопатый подлец, – водка есть?

– Только «Адмиралтейская».

– Шикарное питье при такой-то закуси! – вставляю я.

Халдей – ноль внимания. Имел он меня до седьмого колена включительно.

– Хорошо. Бутылочку водочки, и запить что-нибудь.

Говорю: «Минеральной у вас не найдется?»

– Откуда, папаша! – сверкает халдей золотым зубом, – ты б еще свиного молока заказал!

– Я вам не папаша, а кандидат филологических наук! – отвечаю. – И вы мне не тычьте! За бабки вы б и бобровую струю предоставили, не то что свиное молоко; а сочетанье-то какое противное, признайтесь – домашняя заготовка? У клиентов аппетит отшибать?

– Ну-ну! – говорит он как-то некстати, и зубом: сверк! сверк!

Вообще я не люблю жить. Пасмурное это дело, занудное; если б не козка беляночка, невеста моя, осенняя любовь, так сказать, и не знал бы, к чему душой прилепиться. Хари все, рылы, хайловища...

И этот тоже: дурак дураком, а свое понимает:

– А как вы, – говорит, – относитесь к прозе Аристарха Пафнутьева?

Такой нынче тест у иных-прочих выработался: если ты Аристарха почитаешь, так свой, а ежели нет – от тебя бы подальше, наживешь лиха...

– Я к прозе Аристарха Пафнутьева, – бурчу – отношусь безо всякого пиетета. Начинал он, вроде, неплохо. Оригинального, правда, ничего – использовал карамзинскую мысль, что, мол, и поселянки чувствовать умеют. Вещь, конечно, самоочевидная, впрочем, повторить хорошую мысль никогда не вредно. А дальше... Какая-то статейщина злобная, безуханная... Искусства там ни на гран. Так сказать, начал гладью, а кончил – гадью. Привычное дело...

– Ну и мненьица у вас! – опешил подсвинок. – Странно даже слушать такое!

– Не любо – не слушай, а врать – не мешай! – говорю. – Основной догмат плюрализма. Теперь-то ведь модно насчет плюрализма завинчивать. Слыхал?

– Слыхать-то слыхал, – отвечает, – только я насчет вот этого самого не согласен. Насчет плюрализма. Ни толку в нем, ни чапы, ни хряпы. Гниль одна...

– Ай-яй-яй! Еще на стол не подали, а ты уже чавкать начал. Нехорошо...

– Обиделся. Сидит и помалкивает.

Тут оркестр эдак медленно заиграл, полкан наводчицу вывел, прижимает ее к своему кителю, что-то жаркое шепчет на ухо. А она невинными глазками хлопает, мол – йез, йез...

Мажоры хохочут – уж им – всегда весело. Швейцар сквозь стеклянную дверь бормотой приторговывает…

Технари поддали и оживились – только и слышно от их стола: «обсчитать» да «внедрить»!

Принесли и нам выпить в графинчике. Тут даже конопатый не выдержал.

– С каких это пор, – говорит, – дорогую «Адмиралтейскую» – в графинчике подают, а не в ботле?

Официант, наконец-то, расчетливо взорвался.

– Не, ну в натуре, вы долго тут будете, вообще-то, пристебываться? То им не так, и это – не эдак. Не нравится – чешите отсюда. Видели – очередь до угла! Незаменимых у нас нет!

– Блин! Мы, конечно, для виду повыступали, мэтру обещали пожаловаться, да куда уж тут денешься – время не раннее.

– В общем – выпили мы разбавленного дерьма из графинчика, еще заказали... Пошло, как по нотам! Завертелось, заплясало все перед глазами: пьяные оркестранты, мажоры, инженера, полкан со своей наводчицей...

Я на них долго смотрю и хриплю вызывающе:

– Парочка! Баран да ярочка!

И менты.

Непонятно, но почему-то ко мне, и крутят, и пихают в машину. За что – ни хрю-хрю не скажу, потому что не знаю. Скорее всего, сдал меня подлюга-официант, крыса торговая.

Занятно, как любят нас наши защитнички – в тесную загородку о двух сиденьях друг против друга – пропущена была выхлопная труба. Или, якобы, что-то у них там, зверей, протекало. В общем, вытащили меня едва теплого. Так что в караулке ихней поганой упал я на четвереньки, и злобно, но и бессильно захрюкал. За что и получил пендаля.

Долго не мыкались – продержали положенных три часа.

Занятный произошел эпизод – втолкнули в загончик пьяного зайца. Сел он на пол, достал эстонскую газетенку, и мне протянул – развлекайся. А сам положил под голову кепку – и спать.

Заглянул я в газетку, а там – заключительная речь Сахарова на Съезде. Что-то о пользе народовластия. Презанятно...

Отпустили. С вас, говорят, Борис Харитонович, штраф – четвертной. Получите квитанцию – распишитесь в протоколе.

Вышел. Кругом – ночь темна, денег мало. Завернул за угол, чую – волки. Серые тени, клацанье, топоток... Напал на меня свинский трепет, но я его как-то преодолел, ощетинился.

Под фонарем окружили: «Куда это ты, папаша гуляешь, да по району по нашему?»

– Из ментов тороплюсь. Не замай! – отвечаю по-деловому.

– Не замнем, не надейся. Бабки гони, молись Богу.

– Что вы, серые! – отвечаю. – Какие тут бабки – после ментов? А в Бога я с детства не верую!

Высовывается тут облезлый волчонок с мокреньким носиком.

– Слышь, пацаны! – рычит слабеньким голосом. – Загасить его, старого хряка, – он в Бога не верует!

Надвигаются.

Есть у меня ножик складной – острить карандашики, длиною с ладонь. Пригодился. Открыл я его, помахал под фонариком. Вот, мол, последний аргумент, так просто не дамся! И хрюкнул от ярости.

Странная все-таки вещь – психология стаи. То – злобою без причин обернется, то трусостью необъяснимой...

– Шухер, у него шапер!

И сгинули.

Долго оттуда я пер, как говорится, «на всех четырех». Силы иссякли. Встал, отдышался. Чувствую, хмель-то еще не прошел, много уж больно я выпил сегодня. А до дому далеко.

Стою на бульваре. Смотрю – тополь, а за ним – окошко приветное светится, с желтым абажуром.

Так это же козки моей окошечко, белянки моей!

Звоню. Захожу. Встречает меня в нагольном халатике, и смирно трепещет, как и всегда.

– Ты что, говорю, трепещешь, боишься меня?

– Да нет, говорит, не боюсь, а просто это такое обыкновенное, такая привычная витальная дрожь.

– Я, – говорю, – р-г-рм, у тебя заночую, г-хм!

– Конечно, говорит, – оставайся!

И зря. Не стоило мне, скотине, сюда приходить. Она – насчет чаю хлопочет, а я за ней налитым глазом слежу. Выбрал момент, халатик с нее ободрал, и рыз-з-з! Двы-зы-з!

Утром вспомню – запла́чу.

*1992*

# ЗОЛОТО ИНКОВ

Василий Донатович Халиуллин проснулся очень голодным. «Сволочи, все подмели!» – думал он, брезгливо вытряхивая клеенку, сложенную желобком, в ведро для помоев. Туда осыпались крошки, хвосты и головки килек. Ополоснув клеенку под краном, он стряхнул лишнюю влагу на стоптанный до дерева суковатый кухонный пол: «Ерунда, само высохнет!» Отнес к себе в комнату, расстелил на столе.

В комнате было темно и немного зелено. Объяснялись оба качества тем, что окно выходило в Михайловский сад, в этой части особенно сумрачный, густорастущий. Правда, кто-то из недальних соседей по низкому первому этажу разбил свой собственный садичек перед домом: обложил ромбовидную клумбочку кирпичами, усадил «львиным зевом» – мол, вы, мол, там напрягайтесь со своею громадиной, со своею вымирающей древесной конструкцией, колебал я вас до самого до павильонища Росси, а у меня тут – свой садик, мещанский, пристанционный; а что? я и отмантулил всю жизнь, всю дорогу обходчиком! Мимо клумбы вела натоптанная тропинка к окну Халиуллина.

Сам Василий Донатович тем временем присел на табурет к подоконнику, рассматривать свою отличную книгу – «Золото инков», подаренную с неделю назад одним из старых знакомых по прежней интеллигентной работе; глянцевитая, толстая, как кирпич, изданная в Нью-Йорке, она обладала, по нынешним временам, немалой денежной стоимостью. Вежливейший Аарон Маркович и подарил ее, видимо, с тайной целью материально поддержать Халиуллина, так как напрямую денег предложить не решался,

боясь оскорбить человека, пребывающего в бедственном положении, и, гипотетически, особенно щепетильного в этом качестве.

Добрейший Аарон Маркович ошибался. Никакого ни бедствия, ни особенной щепетильности не было в душе Халиуллина. Всё ему просто стало до лампочки. Сидя на каком-то ученейшем совещании в своей гуманитарной конторе, он вдруг с кристальной ясностью понял, что, чем интеллигентнее коллектив, тем мельче и ненавистнее в нем атмосфера; понял он, также, что они, полудурки, в этом не виноваты, а виноват кто-то третий, или что-то третье, ужасное; что работать здесь или где бы то ни было – страшная глупость, все равно любые усилия превратятся в труху. И он подал заявление об уходе, с удовольствием принятое, поскольку на его малооплачиваемую, но все-таки официально-научную и, стало быть, престижную должность метило уже с пяток блатников.

Всякие излишества и роскошества, вроде кузнецовских тарелок да лишней мебели, он проел с течением времени.

Открылся другой источник существования: разные знакомые весельчаки, быстро соотнесясь с положением, в силу которого он почти всякий час пребывал дома, стали захаживать к нему с разного качества и калибра бутылками; будучи по семейной традиции почти мусульманином, Халиуллин спиртного не пил, однако садился со всеми за стол, улыбался и немного закусывал; на чай же и спички хватало ему от сданных бутылок.

Контингент у него толкался, вообще-то, интеллигентный и особых хлопот не причинявший, однако девок водить к себе Халиуллин не разрешал. Так и жил он и не скучал, слушая завиральные, а подчас и толковые разгово-

ры, доводя иной раз припозднившихся гостей до автобуса, сдавая бутылки, скромно питаясь.

Состояние, в котором пребывал Василий Донатович, социальный психолог определил бы как паралич воли, но беды оттого большой не было, ибо некому было его и доставать с назидательными речами.

К сожалению, вчера у него отдыхала какая-то обезумевшая от спиртных дефицитов компания, уставившая весь стол импортными бутылками, а импортное, черт возьми, не сдается. К тому ж, все подъели; вот и пришлось затыкать свой телесный голод духовной пищей.

Предусмотрительно сверившись с уличным градусником, показывавшим что-то под восемнадцать, Халиуллин открыл окно. Вчерашний хмырек начудил со своею косилкой: от близкого, на шажок вниз, газона пахло сырой свежескошенною травою, на манерчик свежего огурца, и Василий Донатович машинально сглотнул набежавшую слюну. Потом он с головою ушел в это «Золото инков». Мрачное было золотишко, иногда инкрустированное настоящими человеческими зубами, иногда сердоликом, лаково-плотным, похожим на отвердевшую сукровицу; была все же в этих топырчатых, нестандартных изделиях своя злобно-мрачная, но ужасно понятная красота.

«Кетцалькоатль» – то ли прочел, то ли подумал Василий Донатович, захлопывая книгу. «Как-то стыкуются эти вещички с фигурками Мохенджо-Даро... Надо бы сверить... А, собственно, для чего?»

Халиуллин сплюнул в окно. «С прошлым покончено. С будущим, в общем-то, тоже. В настоящем – неплохо бы порубать, да вот что-то никто не идет, почему-то...»

Конечно, Василий Донатович мог преспокойно пойти в «Букинист», и отдать эту книгу за два, а то и за три четвертных. Для него это значило – месяц прожить беззаботно. Да вот жаль было расставаться с хорошею книгой, нравилась она ему, доставляла невинное удовольствие, и даже толику самоуважения приносила, ту малую инстинктивную толику, расстаться с которой для любой, пусть никчемной, персоны – самое последнее дело.

К окну подбежал черный пес неясной породы, однако наделенный широким хозяйским ошейником; искоса зыркнул на Халиуллина чистым фарфоровым белком, глянул умильно и понимающе, как только и умеют собаки. Потом припал на четыре лапы и уставился прямо ему в лицо с выражением веселого вызова: «Пойди, догони!»

– Полно тебе козлякать! – строго сказал ему Халиуллин, махнув изящною кистью. – Пшел, жарь отсюда!

Черный кобель подпрыгнул на всех четырех, развернулся, с независимым видом глянул на Халиуллина через плечо и двинул от него наискосок, прямо через клумбу со львиным зевом, выбранную им явно из хулиганских соображений. Золотые искры от солнца вспыхивали в его сухой лоснящейся шерсти.

Благодушно, помещичьи улыбался вослед ему Василий Донатович: «Вот, увидел бы тебя на клумбе путеец! Ковылял бы на трех, вахлак этакий!»

На недальней детской площадке собрались уже мамаши с колясками и вели каждодневную, нескончаемую беседу, отличавшуюся какой-то противной, пупяной интонацией. «Вот веретена!» – недовольно подумал Халиуллин, а потом он подумал: «Жизнь продолжается!»

Однако же продолжалась она не слишком удачно. Солнце стояло, по питерским меркам, уже высоко, а во рту его не побывало и маковой росинки, не то что, к примеру, маковой булочки, до которых был в детстве очень охоч Василий Донатович. Никто, почему-то, не шел, хотя – случались денечки, что и отбоя от гостя не было.

Халиуллин захлопнул приятную вещь. «Пойду, прогуляюсь по саду, – решил он, – а книгу – на место».

Взял полиэтиленовый пакет, сдул с него пыль, опустил туда свое «Золото инков» – и сунул под старенький просевший диван. Окошко решил не затворять – вдруг кто-нибудь из своих забредет ненароком. Ведь он – ненадолго.

Вышагнул из окна, направился вдоль аллеи. Усатый милиционер, прислонившись к своей стеклянной сторожке, грелся на солнышке. Увидев Василия Донатовича, коротко кивнул ему – с местными он был любезен – мало ли что?

Поглядев ему вслед – вот шкандыбает не совсем русский на вид абориген с клеенчатой авоськой в руке: сухой, узкогрудый; плечи развернуты назад, суставы непомерно большие; пятки в стоптанных шлепанцах долгие; на тонкую шею с кадыком насажена четкая небольшая головка. Под ноги стражу порядка залетел детский мяч, и он, оглядевшись, отправил упругий предмет обратно сопливому игроку точным ударом дубинки, намекавшим на то, что нанесший его понаторел в провинциальной лапте.

Уже издали Василий Донатович разглядел перспективную на вид парочку. Широкоплечий мужчина лет сорока нечто убежденно доказывал своей субтильного вида конфидентке, сопровождая спотыкающуюся речь широкими нетвердыми жестами. Халиуллин сел через две скамейки

от них, на другой стороне аллеи, со стороны мужика; лица его спутницы было отсюда не увидать.

«Когда они еще выбросят стеклотару... – с грустью подумал Василий Донатович. – Придется подождать, потерпеть, ничего не поделаешь... Лишь бы никто из заядлых сборщиков не приперся. Да время-то, вроде, неурочное...»

Но ни парочке, ни ему никто не мешал. Даже мент, разленившись на солнышке, не шел на обход. Перелетали с дерева на другое, с дуба на ясень, тяжелые заводные вороны. Истово крякали с недальнего пруда утки. Возились, чирикали и дрались воробьи. Голуби гулили голосами, полными скрытого эротизма. Со стороны Садовой доносилось деловитое жужжание, шелест шин.

«А вот бы найти на дороге кошелек! – думалось Халиуллину, – И – ноу проблемз! Да кто ж его нынче потеряет – не те времена!» Расположившись на скамейке поудобнее, он предался особой советской прострации ожидания, хорошо знакомой посетителям поликлиник и исполкомов. Пел какую-то знакомую ему с детства песенку про мальчика, который никак не может вскочить на коня – то не дотянется, то через круп перемахнет. «Увидел бы меня сейчас симпатичный старый еврей, – подумал вдруг Халиуллин. – Вот бы разахался!»

– Эй, земеля! – услышал он со стороны вожделенной скамейки. – Стакашка не найдется?

– Есть, есть! – ответил он торопливо и полез в свою клеенчатую авоську. – Вы мне только бутылоч...

Слова застряли у него на губах. Рядом с широкоплечим черноватым мужчиной сидела Варя – его сокурсница по университету – подсохшая, растерявшая свежесть,

но все-таки – Варя! Когда-то у них что-то было, какая-то студенческая история, начавшаяся здесь же, в Михайловском, и закончившаяся в абортарии на Лермонтовском проспекте.

– Да-да, Лев Александрович, попросите у дяденьки стакашок. Не могу я, понимаете ли, из горла, да еще в рань такую...

Он стоял перед Варей, закинувшей ногу на ногу, отчего обнажились ее худые коленки, и не смел посмотреть ей в глаза. А она вела себя, как ни в чем не бывало – приняла у Халиуллина граненый стакан, достала из сумочки кулек недорогой карамели. Когда он отдавал ей стакан, взгляды их встретились, но ее глаза оставались спокойными, равнодушными...

«Не могла же она меня не узнать! – подумалось Халиуллину. – Отчего не призналась – из жалости или презрения?»

– Хочешь глотнуть? – спросил его широкоплечий, закуривая.

– Спасибо, не идет со вчерашнего! – соврал Василий Донатович, упиваясь собственным унижением. – Я лучше в стороне посижу.

– Зачем в стороне! – сказала Варвара, наливая себе полстакана. – Я уж, все-таки, выпью, а остатки мы в стаканчик сольем. Он нам еще пригодится. Идет – стакан на пустую бутылку?

Халиуллин молча кивнул. «Что она, издевается?» – думал он. Впрочем, в ее поведении не было никакой аффектации. Варя выпила, закусила конфеткой, вылила остатки вина из бутылки в стакан. И только, отдавая ее, слегка усмехнулась:

– Будьте здоровы.

В иных обстоятельствах фраза: «Будьте здоровы» звучит как «проваливай». Халиуллин сунул стекляшку в мешок, отошел. Только выворачивая из садовых ворот на канал, где располагался пункт приема посуды, он понял, почему она не призналась. Знакомство с худощавым гопником, сборщиком бутылок, роняло ее перед пьющим с утра, но побритым и отглаженным ебарем! И кто ее знает – быть может, все эти годы, живя с нелюбимым мужем, и потом – брошенная им, потому что так и не смогла сделать ему ребенка; порыкивая в бесплодной головокружительной страсти в постели с очередным битюгом, и после, лежа опустошенная – она лелеяла эту мысль, эту сильную, как проклятье, мечту – встретить его – никчемного, завалящего, и наделить равнодушием – истинным, полным, бесповоротным!

На четырнадцать копеек он купил каравай черствоватой черняшки, на шесть – спаренный бумажный пакетик азербайджанского чаю. Залезая обратно к себе в окно, заметил рубчик черной сырой земли, прилипший к подоконнику, но не придал этому никакого значения. Утреннее помещичье настроение покинуло Халиуллина. Заварил чайку, похлебал и покушал. «Странно, – думал Василий Донатович про Варвару и усмехался, – почему-то всегда все мечты исполняются, только в каком-то жалком, окарикатуренном виде! И, торжествуя над ним, это малое, суховатое, в доску затраханное созданье было очень смешным – ведь ей-богу!»

Халиуллин тихонько вслух посмеялся. В полупустой, отсыревшей за лето комнате смешок его прозвучал довольно зловеще. К тому же – вороны раскаркались в тем-

ной глубине сада. Воздух в просветах между древесными кронами как-то выцвел и посерел. Зеленый оттенок в пространстве комнаты сменился легкою синевой. Похоже, что скоро подойдет дождь.

Некоторая условная сытость, обеспеченная чаем и хлебом, не принесла душе Халиуллина успокоения. И не пережитое унижение – «а-а, наплевать!» – а сознание непоправимости прожитой жизни угнетало его, отнюдь не задубелое, сердце. «Как же, все-таки, как же так?» – пылало оно.

И когда Василий Донатович, решив немного отвлечься, сунул руку под диван, дабы достать занятную книгу, полную американского золота, и обнаружил, что, пока он шустрил за пустою бутылкой, ее кто-то спер...

Когда он осознал, что лишен глянцевитого кирпича, бывшего самою ценной в его обиходе вещью...

Он не поднялся с колен, а, расставив руки, коснулся воскового паркета лбом и сказал:

«Нет Бога, кроме Бога, и за каждым неправедным делом следует воздаяние, как бы ни казалось оно запоздалым! Аллах с ней, с книжкой! Ни за что не придумать легче потери!»

Из-за окна, открытого в темный сад, послышалось легкое шлепанье – первые тяжелые капли колотили по листьям, и скатывались к корням обычных дерев, чтобы те не усохли.

*1990*

# ПРОКОЛ

Миновала весна, пришла уже середина июня, и мы с женою решили насмотреть дачу. Помещение нам на удивленье понравилось. Это была двадцатидвухметровая зала на втором этаже с двумя голландскими печками и крепкими сосновыми балками под лак, с беленькой угловою верандой, окруженной сияющим фризом цветущей сирени, отдельные кисти которой, как пальцы между дверей, прихлопывались закрываемыми окнами.

Двухэтажный деревянный домина числился дачей одного затухающего ведомства – нуждался в покраске и улучшениях, но был со своей глубокой лоджией и высокою крышей – очарователен.

Повесив меж темными лакированными балками занятый у товарища рог северного оленя, чтоб интерьер, стало быть, канал под охотничий замок, мы стали жить. Жизнь началась, как водится, с конфликта. Дело в том, что дом был населен, в основном, подростками обоего пола и их матерьми. Мужья зарабатывали в городе и приезжали по выходным, да и то не всегда. Так что детям был рай, обернувшийся для меня отнюдь не эдемом. Самыми рассудительными были старшие: Гриша и Оля. Комната Оли располагалась за нашей стенкой, и там был детский штаб.

Олю и ее мать только что бросил отец семейства и та, лишь превозмогая себя – свое горе, свою растерянность – наезжала к дочери с постирушками и продуктами. Приезжал по традиции и отец – высокий такой джентльмен в дорогой иномарке. Но в основном Оля оставалась одна, и дети кучковались у нее в комнате.

По вечерам на людей, населяющих этот дом, нападало какое-то странное возбуждение – взрослые и дети переговаривались, смеялись, сновали из помещение в помещение... Особенно – дети. Я приехал на дачу с большою литературной работой – во-первых, редактурой какого-то долбаного Муркока, а во-вторых – со своею собственной документальною повестью, которую непременно хотел здесь закончить.

Получилось так: засыпаю, и в час, или два, или полтретьего ночи раздается громкое хлопанье дверью, или искренний смех на узенькой и скрипучей лестничной площадке перед нашею комнатой, или барабанная дробь бегущих по истертым ступенькам детских (увы, не ангельских!) ног.

На третью ночь непрерывного насильственного пробуждения я пожаловался на детей комендантше, Марье Васильевне, и она в своей крикливой манере изложила мои претензии первой же из подвернувшихся мамаш – сухонькой тетке в тонких очках и сединах, стриженных бобриком, только что прибывшей на дачу и отнюдь не осведомленной о причинах конфликта. Та вызвала меня на лестничную площадку и с неожиданной силой образности сообщила, что старый сухой дом работает, как скрипичный резонатор, и человеку, настроенному на стерильную тишину тут, вообще говоря, делать нечего.

Помня о немалой сумме, отваленной нами за «охотничий замок», я возразил, говоря, что речь идет лишь о лестничной площадке и собственно лестнице, где стоило бы блюсти тишину а также застенном восторженном гоготе в три часа ночи. Разошлись мы друг другом недовольные, и наутро со мною при встрече женщина

не поздоровалась. Зато я как-то утром, выйдя из расположенного внизу туалета, услышал фразу, которая вознаградила меня за все неудобства. Стоя на крыльце ступенькою ниже Григория – серьезного, худощавого и мужественного мальчика, круглобокая Оля, высокая и уже вполне развитая физически, сказала ему грудным голосом буквально следующее: «Видит Бог, я этого не хотела!»

Не знаю, к чему относилась ее фраза, может быть, к какой-нибудь ерунде, но она поразила меня своим уездным, каким-то, драматизмом.

Сирень, между тем, потихонечку отцвела, но я продолжал следить за желто-бурыми кистями ее плодов, удивляясь преображению красоты в красоту – сквозные и неброские кисти, невнимательным глазом обычно не замечаемые, манили какой-то своею внутренней сосредоточенностью: освещаемые косым утренним светом, они как бы проговаривали – «Вот я!» – перед Господом. Потом плоды сирени вытянулись наподобие тонких зеленых пальцев-стручков, но их не расклевывали птицы, и они не осыпались, а жухли – да у них, впрочем, и шансов не было укорениться на этой густо заросшей материнскими особями земле. Пылающая сирень, манившая благоуханием и пышностью весенней раскраски, цвела, стало быть, в никуда – плоды ее были неприменимы к местным условиям.

Так иной человек: цветет яркой юностью, привлекает доброкачественными флюидами зрелости, а потом – жухнет и отцветает, не оставив потомства. Могут, конечно, сохраниться какие-то строчки, им сочиненные, но что эти строчки – всего лишь сухая бумага...

Ко мне в гости приезжал философ Алексей Станиславович со своею женой и приезжею дочкою Настей – крепкогрудым четырнадцатилетним подростком, судившим обо всем с такою аналитической твердостью, что я, имевший с Настею свой разговор, поражался и комплексовал по отношению к тому обстоятельству, что, мол, вот какие растут в городе Бишкеке прекрасные и яснолобые дети. Да и местные, отравлявшие мой сон змееныши, были не лыком шиты: тонкокостная Варя училась и, судя по рисункам, небезуспешно, в художественной школе; Оля – в колледже с финским уклоном; Гриша, сын седоватой бабоньки, стриженной бобриком – славился на весь мегаполис своими математическими успехами.

«Почему, ну почему же так неустроенна наша жизнь, почему Россия бьется в конвульсиях постоянного кризиса, при таком-то человеческом материале»? – думалось мне. Но строящиеся вокруг прочные и добротные домы, разведенные местными куркулями сады, стада домашних коз и стайка набоковских велосипедов, сбежавшаяся в полутемной прихожей нашего ведомственного ковчега, говорили о том, что жизнь не так уж дурна. К примеру, у меня, послевоенного рахитоса, велосипеда никогда не было. И аристократический блеск катафотов я мог наблюдать только со стороны.

К осени дети разъехались, солнечный свет стал редеть и яснеть, а ночи вдруг сделались такими темными, что ко мне в остывающей, некрикливой тиши зачастил некий неточно описываемый субъект, телепатическим образом отрекомендовавшийся, как «Прокол». Когда-то, во времена своего, так сказать, штурма унд дранга, я называл этим именем некий художественный эффект, который в академических кругах зовется катарсисом.

«В любой хорошо сделанной вещи, – говаривал я, разглаживая черные, без сединки, усы, – должен содержаться некий прокол, некое суммирующее детали созданной вещи острие, которое прокалывает зрачок или сердце пристрастного потребителя. Без этого – полотно не висит и музыка не играет».

Слушатель глубокомысленно покачивал головой, скреб ногтем шершавый ободок чайной чашки третьего сорта, и изрекал что-нибудь вроде: «Похоже на то!»

А этот ночной и дачный Прокол не пускался со мною во словопрения, а глядел из темноты невидимыми глазами без блеска, отчего я начинал ворочаться во сне, и лишь острие прихваченной им с собою большой «цыганской» иглы посверкивало в тех неизвестно откуда берущихся отблесках, которые содержатся в сердцевине любой, даже самой глухой и замкнутой ночи.

Почему-то мне в голову приходила мысль, что надо заделать гладко и чисто выгрызенный, уже лоснящийся по обрезу от старости мышиный лаз, устроенный прямо под гофрированной голландкой, но Прокол сообщал, что дело это, вообще говоря, бесполезное, и навеяна эта идея дремучими представлениями отдаленных человеческих пращуров, заставивших, скажем, древних индусов назвать бога смерти именем Яма.

Я никогда к нему прямо не обращался, промолчал и на этот раз. А утром, глядя, как толстенная и кособокая Марья Васильевна начищает на крыльце своей по отечественному жухлой избы медный таз, свинцово блестевший от жемчужно-серого света, сочащегося сквозь пелену облаков, отчего-то вздохнул тяжело и закурил уже совершенно трагически.

Но тут жена позвала меня в полуосыпавшийся пасмурный лес, и мы долго топали по лесному проселку, превратившемуся вдруг в аллею, уставленную облетевшей рябиной, чьи тяжелые мясно-красные гроздья свидетельствовали о торжестве вечной жизни. Нет, не жизнь вечную обещали они, но вечно-телесную жизнь без нас, и оттого прячущийся за густотами тьмы, слипающимися в глубинах леса, Прокол глядел мне в глаза из своих столь близких убежищ особо зловеще.

Но тревогу мою развеивал ветер, пробегавший по вершинам редких, негустых в этой местности елей, и в опущенный долу глаз бросался жирный, как коровья лепешка, шмат не в меру разросшегося черного груздя (которыми мы с женою отнюдь не пренебрегали), и начиналась охота за грибами, уже нечастыми в эту пору, что вывеивало из смурной головы всякие даже намеки на появленье Прокола.

А тут и стайка подростков-соседей, приехавших сюда порезвиться на воскресенье, высыпала на овеянную случайным солнцем поляну, и их оживленные розовые лица, неловкие, но оттого еще более эротически-привлекательные движения, до боли знакомая настырная болтовня – все это развлекало внимание... Тем паче, что, как нельзя более некстати, сухая еловая ветка зацепляла и уводила в сторону с носа мои золотые очки, и Оля, покровительственно посмеиваясь, и обдавая влекущим женственным запахом, помогала их отыскать слепошарому ябеднику, и, как бы случайно уронив их в самую грязь, а потом протянув неловким и очаровательным жестом, произносила магические слова извинения:

«Видит Бог, я этого не хотела»!

Потом подростки забирали прислоненные неподалеку, на рябиновой аллее, велосипеды, и мчались вперед, навстречу зыбкой, едва видимой и незыблемой старости, явно сплетничая: перекрикиваясь и перешептываясь на лету.

Грибов мы с женой набирали, как правило, под завязку – большелобые пни и поваленные, полусгнившие туши берез были густо усеяны белесою бахромою опят. К концу того дня мы приперлись домой, тяжело дыша, кинули переполненные корзины где попало, сбросили тяжелую лесную амуницию – сапоги и куртки, и повалились по своим лежбищам – отдыхать. Днем сон обычно тяжел, но мне приснился какой-то летучий блестящий город, выполненный из полированной стали: все в нем блестело, яснело и розовело от солнца, а прекрасные жители сидели под клепанными навесами уличных заведений и пили из стальных чашечек ароматный дымящийся кофе, о чем-то своем премило переговариваясь и поглядывая на меня с невыразимой приветливостью.

Проснулся я первым, и, спустившись на двор, принес ведро чистой, холодной и сладкой воды, которая особенно освежала после тяжелой лесной работы и средидневного сна. Потом пошел на веранду и принялся чистить и сортировать собранные грибы. Вся веранда наполнилась сыроватым и благовонным грибным запахом, и мне было хорошо. После ко мне, позевывая, присоединилась жена, и мы, соединенные долгой и кропотливой работой, держали в уме, что наградой за труд будет полная сковорода жареных опят, вкусных и сытных. А в широкие окна тянулись позлащенные заходящим солнцем и осенью ветви.

Потом мы всё приготовили, зажгли свечу на столе, расставили блюда и тарелки; жена подошла к старому учрежденческому зеркалу, привезенному на дачу по случаю, и стала наводить макияж, включив электричество, а я, думая о чем-то своём, спросил ее невзначай: «Для кого ты стараешься? На дискотеку, что ль, собралась»?

Плечи моей сорокадвухлетней жены вдруг замерли и она, повернувшись, взглянула на меня с нескрываемой обидой и отбросила на сервант губную помаду, даже ее не завинтив. А потом между нами состоялся значительный разговор. Жена заявила, что я ей давно надоел, что она сыта мною по горло, что жить вместе долее невозможно, и что мои выходки доведут ее!.. Что если я себя не жалею, то хотя бы ее поберег... Сначала я возражал, урезонивал, а потом перестал, сознавая всю справедливость ее упреков, только вызывающе кхекая и глядя в окно, за которым сгущалась ночь. Жить было тоскливо и безнадежно.

– Видит Бог, я этого не хотела! – воскликнула она под конец. Точно не вспомнишь, к чему относилась эта сакраментальная фраза.

Потом она замолчала и мы, задув догоревший почти до основанья огарок, разошлись по своим отдельным кроватям. В комнате стало очень темно.

*1998*

# ХТОНИЧЕСКИЙ СТАРЕЦ

Недавно мне заказали цикл рассказов «Несущие герои». «Несущие» – в смысле, с одной стороны, несуществующие, а с другой – несущие в себе некую петербургскую существенность. Этот рассказ – единственный из неосуществленного цикла.

*Автор*

Хрисанф Иванович Лович, архив которого, к счастью, не был утрачен при переезде Российского государственного архива, предстаёт перед нами в качестве отменного, без страха и упрека, служаки. Его формулярный список, пункты которого коротки и лапидарны, как приказы Суворова, под началом коего привелось ему воевать, о том непреложно свидетельствует.

Знаменитый переход через Альпы, во время которого Лович, «выказав блестящее знание математики и отменную храбрость, был приписан к артиллерийской части», принёс ему чин подпоручика и звание Георгиевского кавалера, что для осьмнадцатилетнего юноши было вовсе недурственно.

Участвовал он и в ранних сражениях России с самим Наполеоном, в том числе и под Аустерлицем в чине артиллерийского капитана; как свидетельствует его если не друг, то, во всяком случае, восторженный почитатель, единственный, кто был с ним «на ты», Иван Карлович фон Кунце в своих «Записках умягчённаго сердцем», Лович отзывался о знаменитом сражении так: «Кабы не Алексей Андреевич Аракчеев, поставивший нашу артиллерию на твёрдую ногу, мы б не конфузию потерпели, а полный разгром»!

Может быть, и отдают эти слова корпоративным пристрастием, но свои резоны в них есть.

В кампании Двенадцатого года и дальнейших перипетиях славной для Русского оружия войны он напрямую не участвовал, бывши послан тем же Аракчеевым на Урал, на чугунные заводы, надзирать за исправностью литейного производства; пробыв там лет семь и выслужив чин полковника, Владимира с бантом и прозвище «нуды», скорее почётное для персоны, призванной что бы то ни было инспектировать, он в 1819 году подал в отставку, мотивируя прошение внезапно открывшимся аневризмом, а про себя послав к чёрту высшее начальство, кажется, о нём позабывшее, как это часто бывает с «людьми на своём месте».

И хоть ни чинами, ни наградами он не был обойдён, перспектива торчать и далее на заводах или становиться фрунтовым генералом его совершенно не манила.

Подав в отставку, Хрисанф Иванович не уехал, как большинство его сослуживцев, в Москву или подмосковную, а остался жителем Петербурга, купив себе дом с палисадником на тихой, полудеревенской Петербургской стороне и водворившись там со своим единственным слугою, неизменным ординарцем Никитой Козминым, бывшем при нём неотлучно ещё с Альпийской кампании.

Он не женился, не завёл детей, хоть и был для того в подходящих летах. Зажил затворником, принимая у себя лишь раздобревшего с годами, но не растерявшего своего природного добродушия генерал-лейтенанта фон Кунце, с которым, в нарушение раз и навсегда взятого принципа, не гнушался распить бутылку Клико и выкурить сигару, до которых, в отличие от вина, был он большой охотник и

которые на свои достаточные, но не чрезмерные средства, выписывал аж из Манилы.

Пищу предпочитал он простую: кусок жареной телятины, гурьевскую кашу, отварного цыпленка. Всё это доставлялось камердинером из ближайшей кухмистерской, так что единственной заботой Никиты Козмина по гастрономической части было трехразовое разведение самовара, да содержание в чистоте столовой посуды.

Там не менее, глядя на то, как вокруг живут люди, Никита, по примеру большинства лиц своего звания и должности приверженный Бахусу – недостаток, который его хозяин стоически переносил, – не мог удержаться от недовольной воркотни, – мол, его Хрисанф Иваныч по части скопидомства и немчуру перенемчурит, однако, живя за хозяином, как у Христа за пазухой, в каждое Прощёное воскресенье просил у барина прощения за свою досужую болтовню, которая и из дома – упаси Бог! – никогда не выносится.

Ловичу было не до излияний старого челядинца. Он математически рассчитал, на основании колоссального статистического материала, касающегося приливов и их действия на скорость вращения Земли, землетрясений, оползней и прочих катаклизмов, случающихся в природе, что под сравнительно верхними слоями земной коры существует единая, как на поверхности Земли, система рек, озер, морей и даже океанов, куда можно проникнуть из наиболее глубоко уходящих под землю пещер и совершить при помощи сконструированного им аппарата кругосветное путешествие, водружая на вновь открытых островах, архипелагах, а если приведётся, и континентах, российский флаг.

В подгородном Саблине Лович снял мызу, на территории которой имелся один из многочисленных ходов в

систему пещер, на которые Хрисанф Иванович возлагал большие надежды.

Лет через пятнадцать после выхода своего в отставку, будучи уже человеком, по тем временам, пожилым, к тому же обросшим густой бородою, поскольку заниматься собственной внешностью было ему недосуг, он подал в Военное министерство свой бесценный прожект. Военный министр тотчас же приказал помощникам приготовить экстракт обширного труда и выдать свое заключение.

Оно, увы, оказалось скорей отрицательным, ибо дерзновенный замысел, который заключался в прожекте, мешал углубиться в точность и изящество его расчётов, стройность генеральной мысли и непреложную логику.

Однако, во уважение прошлых заслуг ветерана, министр, также птенец гнезда Аракчеева, к тому времени мирно почившего в бозе, отложив отрицательный отзыв, подал экстракт прожекта на Высочайшее рассмотрение.

Резолюция несколько ошарашила военного министра. Выглядела она так:

«Впредь рекомендую не отнимать у меня драгоценного времени, потребного для решения действительно важных дел, столь сложным и скушным вздором.

*Николай».*

Прошло много лет. И вот, в «Петербургских ведомостях» проскочила, среди новостей с театра многотрудной Крымской кампании, странная заметка, перепечатанная из «Нью-Йорк таймс» – газеты, выходящей в Северо-Американских Соединённых Штатах. Приведём её полностью:

## ХТОНИЧЕСКИЙ СТАРЕЦ

Как сообщает газета «Санди Вокэр» из городка Вокэр, расположенного у кромки Большого Каньона – на отмели реки Колорадо был обнаружен странный металлический предмет сигарообразной формы. Рядом с ним восседал на камне, греясь на солнце, и спокойно курил толстую манильскую сигару весьма преклонного возраста господин, густобородый и седовласый, прилично одетый и, к сожалению, совершенно слепой.

Он не понимал по-английски, зато свободно заговорил по-французски, когда нашёлся человек, сведущий в галльском наречии. Первым вопросом старца был: «В какой части света я нахожусь?»

Путешественник сообщил о себе, что отплыл из Санкт-Петербурга на своём аппарате два года назад и, испытав множество приключений, переплыв по течению сотни подземных рек и озер, потеряв своего слугу и соратника, был выброшен на поверхность Рио-Колорадо и на слух причалил у отмели ближайшею ночью. В голосе русского звучало торжество победителя.

Заботу о нём взял на себя редактор «Санди Вокэр», мистер Иегуда Помпкинс, тотчас же купивший у путешественника права на издание его воспоминаний, которые будут выходить в газете отдельными фельетонами.

Если всё, что он утверждает, не хитрая мистификация, а думать так не имеется никаких оснований, стоит сотворить возлияние подземным богам, помогавшим ему в пути, и титуловать путешественника

ХТОНИЧЕСКИМ СТАРЦЕМ.

*2008*

# УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Нынче уже не те времена: кое-кто прибавил в весе и разбогател – одна моя неблизкая, прямо скажем, знакомая имеет даже дачку на Патмосе, в Эгейском море, а может – Адриатическом. Одним словом, на острове, где Иоанна Богослова прожгло Апокалипсисом. Интересно, что за девизы украшают тамошнюю поливную посуду? «Пей, гуляй, добра наживай»? Или, для привлечения интуристов: «Небеса свернутся, как свиток»?

Любопытно, чем она завтракает, эта моя неблизкая знакомая? Небось, вареными мидиями с гарниром из спаржи? Берет аккуратными пальцами то тяжелую, как грузило, мидию, отчего на золотистой поливе обнажается слово «пей», то – патрончик спаржи, обнаружив под ним продолговатое и клонящее к медитации выражение «свернутся». А потом, запив съеденное «мастикой», завив на виске хорошо прокрашенный локон, занимается медитацией, глядя на взблескивающую под красивым эллинским солнцем относительно бесконечную лазурную даль, до того безмятежную, что медитация перетекает в дрему, легкую и отрешенно летучую, как дуновение патмосского ветерка...

Да, весьма щедрые нынче времена. Правда, недавно я наблюдал совсем другой завтрак в центре нашего города: обугленная от грязи пожилая бомжиха вытащила из лужи раскисшее, кем-то брошенное мороженое и спокойно, без малейшей брезгливости, отправила себе в рот.

От этаких «жанровых сценок» становится темно на душе. Хочется отрешиться от огромного несчастья, вспомнить о чем-то светлом, лазурном, ликующем и

бликующем... Я давно не был на море и, окажись на его волнующем, широкодыхательном берегу, обязательно бы воскликнул: «Вот это – да!» – по примеру каких-то древнейших, растревоженных появлением синего моря греков. Помните, как пели в советские годы: «Надену я черную шляпу, поеду в город Анапу».

В оные годы я и поехал туда по какой-то немыслимо дешевой путевке и остановился в тенистом дощатом шанхае из легких будочек – мест на семь каждая. В будочках было неплохо – там только ночевать; и мужчины, жившие бок о бок со мною, – ростовские водоканальцы, меня не доставали; я даже подружился с одним из них – здоровенным, дышащим мощью казачиной, говорившим медленно, веско и никогда не жульничавшим в дурачка на бархатном, мелкого песка пляже, где днем располагалась наша колония.

Мне запомнились два его неторопливых высказывания. Одно – такое: «У вас там на севере, начиная с Воронежа, все неправильно выговаривают букву «г», ухо режет». Сам-то он произносил «г» придыхательное, хохлацкое, которое в правильном великорусском наречии встречается лишь в слове «Бог».

– Работаю, – рассказывал он, – трактористом по инвалидности. Вообще-то хотел в армии остаться. Служил я в десанте, и старшина говорил мне: «Алексей, есть у тебя редкий талант, и цены ему в нужное время не было бы, а талант этот – уничтожать». Знаешь, какой я был подрывник? Э-эх! Если бы не рука!

Руки его на вид были совершенно одинаковые, но, занимаясь от скуки арм-реслингом, он клал всех подряд одной левой, правую же в ход не пускал – берег. Впро-

чем, слова такого – «армреслинг» – мы тогда и слыхом не слыхивали. Интересен мне был этот тип, в те далекие безмятежные годы скучавший о войне.

Анапа считается раем для детского отдыха, и действительно: мелкое отлогое море, немного подпорченное клубами бледно-зеленых, мелковолокнистых, чуть слизистых комьев каких-то водорослей, наносимых северным ветром, который на всем Черном море зовут «кацап», позволяло ребятишкам плескаться часами без малейшей опаски. Глядя на их мамаш, медлительных и широкобоких, как коровы, я с особенным нетерпением поджидал свою девушку, которая должна была приехать через пару недель из Ленинграда. Тем более что на базе водоканальской, оказывается, не кормили, на что я рассчитывал и, за неимением лишних денег, потихонечку голодал. А где женщина – там и еда, это вам любой школьник скажет.

К концу двухнедельного срока, когда в глазах у меня уже рябило от ярких под пляжным солнцем девяток, королей и валетов, а также и от медицинского спирта, подпольный источник которого надыбали расторопные ростовчане, щедро меня угощавшие, она появилась – спокойная, милостивая, невысокая и округлая, источавшая благостность и покой.

Я снял в соседнем заброшенном пансионате, настолько заросшем давно уж не стриженным ивняком, что мир его казался подводным, дощатый скворечник, бросил оба наших рюкзака на панцирную кровать и повел мою милую в центр, на городской променад – асфальтовую тропу по обрезу холма, с одной стороны ограниченного обрывом, сбегавшим к морю, а с другой – православным кладбищем. Несколько странно смотрелись чинно гуляющие

семейства во всех своих курортных прикидах восьмидесятого года на фоне кладбищенских крестов; ну, да во всяком пейзаже сыщется свое «мементо мори», даже на каком-нибудь живописном греческом острове.

Пройдясь от души и отстояв длиннейшую очередь в чадном кафе, торговавшем вареным выменем с гарниром из политых красным, густым от муки соусом макаронных рожков, мы наелись как следует и вернулись к себе на окраину, на мягчайшего песка пляж, где купались и загорали до самого вечера, а потом отправились в донного типа пансионат. По дороге я купил в известной мне точке поллитровую бутылку ректификата, и мы заперлись под нашей самостоятельной кровлей на всю долгую и жарчайшую ночь.

Что вам рассказывать о любви – все, как и у других, и в то же время совершенно особо – мне запомнилась эта ночь, оставившая по себе сильно помятую лежанку и пустую поллитровку из-под чистого спирта (доза, как говорится, немалая), – навсегда.

Я был в разводе, несколько сбившем меня с жизненной позиции, уже долгих шесть лет, и впервые за эти годы ощущал какую-то внутреннюю раскованность и, я бы сказал, адекватность. И не то чтобы до этого я жил монахом – тут было другое, о чем не имеет никакого смысла рассказывать посторонним.

В поездку я захватил свою рукопись и ранним чистейшим утром, примостившись на столике для забиванья «козла», уже что-то строчил на белом листе бумаги, посвистывая, а иногда – напевая, чего сам, разумеется, не замечал...

В тот же день наша компания пополнилась Рыжим

– тонкокостым и славным мальчиком, моим другом, который, как бы нырнув к нам сквозь бессолнечную прохладную субстанцию чуть рябящего воздуха, произнес с деловитой, заранее заготовленной расстановкой: «Ну, здравствуйте. Как поживаете?»

Мы, конечно, завосклицали нечто восторженное по поводу встречи и усадили нашего товарища завтракать.

Рыжий был моим своего рода Вергилием, проводником по трущобным зигзагам Ленинграда. Люминесцентные подвалы котелен с их вечным портвейном и немытыми, но послушными девками; младохристианские сборища, в репертуар которых добавлялся еще и умело забитый, по кругу пускаемый «косячок»; чердаки безвестных в Питере, но прославленных в Рио-де-Жанейро художников, – были знакомы ему со школьной скамьи. Сам же он обладал гибким и покладистым, но по-своему твердым нравом, основу которого составляла его неизлечимая болезнь – псориаз, приучивший к дискомфорту, а стало быть, к терпению и выдержке.

Так или иначе, он был красив, хорошо воспитан и трогателен в своей молодости и какой-то отзывчивой прелести. А сейчас приехал на солнышко – подлечиться. Денег у него было, как и у нас, – негустенько, так что план дальнейшего путешествия, составленный нами за завтраком, оказался прост до чрезвычайности: отсюда мы перебираемся в Керчь, а затем – в Феодосию, откуда рукой подать и до Коктебеля. Ночуем – в палатке, проворим еду – на костре.

В следующий раз мы купались уже в Героевке на окраине Керчи, в тихом зеленом поселке, где военную тайну – подземный аэродром – начисто разоблачали сигарообраз-

ные подвесные баки из-под авиационного топлива, укрепленные в каждом саду на высокой треноге и служившие емкостями для поливки. Купив котелок терпкого, пикантного на вкус, доморощенного винца, щедро приправленного махоркой, и распив его у подножия маяка, напоминавшего какой-то средиземноморский донжон, осмотрев развалины греческой колонии под названием «Нимфей» и набравши красивых черно-лаковых черепков, мы отправились в Феодосию.

Город напоминал внутреннюю сторону немыслимых параметров чаши, на дне которой плескалось синее море. Это особенно замечалось с окраины, с опушки уходящего в горы невысокого соснового леса, где мы устроились на ночлег. Белые стены домов с застекленными и открытыми террасами, красные черепичные кровли, синяя пустота моря... Что может быть лучше для человека, не менее полугода изнуряемого отсутствием солнца и питерской пресною и холодною смесью дождя и снега?

Здесь, на окраине тихой феодосийской слободки, на поляне, окруженной невысокими свежими соснами, источавшими дивный запах, мы расстелили спальники и разожгли костерок, на котором сварили в котелке, пряно пахнувшем табаком и вином, «змеиный супчик», вкус которого до сих пор у меня на губах – супчик, как-то сразу исчезнувший вместе с социализмом.

Днем я что-то строчил и здесь, примостившись на сосновом пеньке. А вечером, развалившись на своем спальнике, читал путеводитель по Коктебелю, где дотоле, да и после того, не бывал. Там писали про зловещие прелести Карадага, Сердоликовую бухту и опасную травку, которая во время цветения испускает ужасные, убийственные для

дыхательных путей ароматы, и для кожи человеческой преболезненные. Моя милостивая, нешумная девушка стирала наши с Рыжим пропотевшие в жаркой дороге рубахи. Сам же Рыжий, пока светло, читал толстый том Марины Цветаевой, подставив вечернему солнцу стройную спину, изъязвленную шелушащимися блямбами псориаза.

Ночью на дне чаши, в порту, зажигались елочные гирлянды сигнальных огней, и море темною массой, чуть млечной к едва ощутимому горизонту, вставало над сбегающей панорамою города, как широкий подъемный мост. Едва заметными сталистыми струнами блестело у лукоморья полотно железной дороги, и редкие окрики маневровых тепловозов мешались с утробным гудением карабкающихся куда-то вверх и вдаль сейнеров.

Взяв за руку свою милую, я увел ее по струящейся в горы, светлой каменистой тропе, греющей босые ступни, и жадно целовал среди остро пахнувших прокаленной за день хвоею молодых сосен.

Наутро мы с Рыжим разделились: он утверждал, что горами до Коктебеля – рукой подать, но я, с детства боявшийся высоты и подтвердивший эту свою высотобоязнь прежними путешествиями по Крыму (особенно меня потрясла огромная полукруглая вымоина в отвесных скалах, вдоль которой вела тонкая, неверная тропа, повисшая над трехсотметровою пропастью в горной местности под названием «Качи-Кальон», где был расположен древний армянский монастырь), – наотрез отказался идти горами.

– Рыжий, да тебя в Орджоникидзе заловят! – попробовал я образумить парня. – Ведь там же база подводных лодок, насидишься на КПП!

– Проскочу! – заявил он уверенно, с легким оттенком молодого фанфаронства, и мы сразу поверили: он – проскочит. Договорились встретиться в поселке у почты, упаковали спальники и рюкзаки; к своему я еще принайтовил тяжелый рулон палатки; присели на дорожку и разошлись: Рыжий двинул вверх по тропе, а мы вниз – к белым стенам и черепичным кровлям города, сбегавшего к юному, чуть подернутому первозданною дымкой морю.

Перед поворотом я оглянулся на шурующего вверх, к перевалу, путника в белых кедах, стройную фигуру которого вовсе не тяготил огромный брезентовый, цвета хаки рюкзак.

– Во дает! – обратился я к своей спутнице, и, обернувшись, она долго смотрела из-под зеленого прозрачного козырька, бросавшего на ее лицо какой-то мистический отсвет, вослед уходящему.

В Коктебель мы прибыли на автобусе. Известный курорт поразил меня родной советской фуфловостью: замусоренными улицами, бензиновой вонью с автобазы, неожиданно обломившейся с левого краю набережной. Да и знаменитый щекастый профиль, напомнивший старинные гротескные изображения дующего во всю мочь Борея, вызвал лишь ироническую усмешку.

Пообедали мы в едальне «Левада», в просторечии называемой просто «Блевада». Качеству подаваемых блюд народное название полностью соответствовало. За обедом я рассказал, как Рыжий, завсегдатай здешних мест, выцыганивал рублики на опохмелку у внука известной советской писательницы Мариэтты Шагинян.

– Дай рубль, а не то – зачитаю! – говорил он запуганному, ни в чем не повинному парню. И если тот, паче чаяния, отказывал, Рыжий декламировал известный стишок:

Железная старуха
Марьетта Шагинян –
Пластмассовое ухо
Рабочих и крестьян.

К старости известная околодекадентская дама сделалась глуховата.

На территорию писательского пансионата, куда любопытно было нам заглянуть, нас не пустила пожилая крымская татарка – резкая, как все степня́чки.

–Ухады! – сказала она. – Пускать нэ вэлэна!

Никаких знакомств в московских писательских кругах у нас не было, так что сунулись мы сюда ради туристической любознательности.

Поутру нас, уже воссоединившихся с Рыжим и заночевавших на отлогом, поросшем высокою сухой травою холме, разбудила чистая труба пионерского горна – в лощине между нашим холмом и горной грядой стоял пионерский лагерь. Мы загляделись на дальний мыс, на Хамелеон, менявший цвета под лучами восходящего солнца, и решили откочевать в бухту Тихая, или Мертвая – туда, где публики мало, а тишины и моря – хоть отбавляй. Поверху, по надбрежным холмам, к бухте вела широкая наезженная дорога, но мы этого не знали и ломились кустами, какими-то потаенными тропами, а потом – по обрезу моря, водою, заминированной стоячими пластинами местного плитняка, больно кусавшими мокрые щиколотки. Песчаную бухту Тихую я забраковал из-за некоторой мутности ее светло-зеленой воды, полной какой-то механической взвеси. Тронулись дальше – мимо казенных строений пограничной заставы, а потом – снова понизу, морем. Про-

мучившись еще с полчаса, мы нашли поросшую травой выемку, награжденную к тому же миниатюрным родничком, стоявшим в прорубленном в горной породе небольшом квадратном колодце, и таким слабеньким, что вода оттуда не выливалась. Затеняемая нависшей скалой, она холодила зубы, что было особенно ценно по безводным крымским условиям.

Морем мы прошли в соседнюю бухточку, на разведку, и обнаружили, что она занята – там остановилась компания молодых феодосийцев, чьи голоса гулко бубухали сверху, из приморского грота, обращенного лицом к суше. Компания была симпатичная, но очень шумная. Парни заигрывали с девушками, а вечером, умеренно выпив, все вместе заспивали протяжные и томительные украинские песни. Мы не обращали на них никакого внимания – нам и так было хорошо. Прозрачная, маслянистая и пахучая влага, в которой так приятно было остудить разбухшее от палящего крымского солнца тело; книги, писанина и укреплявшееся в моей душе особое чувство к донельзя симпатичной подруге – все это заполняло дни целиком. Рыжий развлекал нас побасенками о знакомых, рассказами из нашей общей аутсайдерской жизни, а иногда – чтением собственных, далеко не бездарных стихов.

Он сообщил нам, что в соседнем ущелье, там, где пещера, снимали приключенческий фильм «Пираты двадцатого века», и это меня немного насторожило – я знал об ужасной судьбе актера, игравшего в фильме одну из заглавных ролей: его, обладателя черного пояса по каратэ, оглушенного злой эзотерикой и не оказавшего никакого сопротивления, насмерть замучили какие-то черные экс-

трасенсы. Это была одна из самых скандальных историй последних лет, о которой писали в газетах.

Дни между тем стояли хорошие, жаркие; напялив брезентовые рукавицы, я лазал по склонам сбегающих к бухточке сопок и ломал сухие ветви дикой ежевики, украшенные ужасными, ножевидными шипами, протыкавшими даже плотный брезент, – на дрова. А когда лез отмокать в прохладную воду, порезы на руках разъедало морскою солью. Зато котелок над прозрачным костром бурлил так приветно, что я поневоле гордился своею добычливостью и стойкостью к боли.

На третье утро со стороны соседей не послышалось ни треньканья гитары, ни девчачьего визга, ни юношеской щенячьей возни. Мы с Рыжим морем перешли в соседнюю бухту: в глубь известняковой скалы вела узкая, темная водомоина, завершавшаяся высоким и тесным порогом в половину человеческого роста; взобравшись, мы уперлись в стенку в полуметре от нас и, повернув направо, оказались в сумрачной, глубокой и узкой расщелине, раположенной параллельно берегу; позолоченная восходящим солнцем стена венчалась продолговатым и невысоким зевом пещеры.

По обходной тропе мы поднялись вверх метров на пятнадцать и забрались в грот. Он был неглубоким, сухим и темным. На полу желтела набросанная прежними обитателями солома. Осмотрев наше будущее жилище, мы спустились обратно в небольшое ущелье.

По дну его непрерывно сквозил зябкий, действующий на нервы ветерок. В дальнем конце возвышалось какое-то странное сооружение, собранное из тонких алюминиевых труб, – остатки некогда брошенной киношниками съемоч-

ной арматуры. Угловатые тени в изломах скал напоминали таинственную клинописную надпись, наподобие Бехистунской. О чем сообщал этот магический текст? Веяло от него какой-то иррациональной угрозой...

Подавив в душе тревожное ощущение, я позвал свою девушку, и мы втроем занялись обустройством нашего нового жилища.

Выпростав из рюкзаков пустые мешки, мы забрались наверх, на плато, чтобы набить их чем-нибудь мягким. Дело двигалось ни шатко ни валко, за неимением подходящего материала, пока моя девушка не позвала нас: «Идите сюда, поглядите, что я нашла!»

Она стояла на краю не очень давно перепаханного поля, поросшего редкими кустиками какой-то жирной, пирамидальной, цветущей синими цветами травы. Мы принялись рвать это мягкое сине-зеленое месиво и сносить в одну кучу, к пустым мешкам. Потом их набили и отнесли в пещеру, где три наших ложа разместились впритирку – от стенки до стенки. Они доставали до неширокого, в два шага порожка, обрывающегося почти отвесной пятнадцатиметровой пропастью.

Я долго, поминая черта и тратя последние спички, пытался разжечь костерок на дне каньона, усыпанного каменными осколками, но зябкий и непрерывный сквозняк, тянущий вдоль его дна, не раздувал, а гасил никак не занимающееся пламя.

То бранясь, то умоляя злых горных духов, явно мешавших нашему обустройству, я еще долго возился с костром. Когда наша обычная дневная пища была готова, мы собрались на солнечном пороге пещерки и с удовольствием пообедали, а потом пробрались узким проходом к морю,

в свою личную каменистую бухточку с прозрачной водой, где плавали, загорали, драли мидий с камней и были всячески счастливы. Ближе к середине дня поднялись в пещеру и залегли отдыхать. Тут было прохладно и сухо, и вскоре я задремал.

Проснулся от невыносимого зуда, словно огнем охватившего руки и ноги. Я осмотрел свои голые конечности. Они были покрыты толстыми свербящими волдырями.

Вскоре от моих чертыханий проснулись и спящие, и мы стали кумекать, отчего такое могло случиться?

Наконец до меня первого и дошло: это же проклятая жирная травка! Совсем недавно я читал о ее злобных свойствах в путеводителе!

На спутников летучий яд почему-то не действовал, а мои руки и ноги жгло, как огнем.

Делать нечего – вытряхнув мешки подальше от становища и оставив Рыжего сторожить общественное имущество, мы с моей милой двинули в поселок за медицинской помощью. Хрен! Там и завалящего медпункта не оказалось. Купив в аптеке димедрола, а в соседнем гастрономе – полбанки, мы по жаре вернулись обратно. Остаток дня я провел, прямо скажем, не в лучшем расположении духа. А Рыжий смотрел на меня с легкой усмешкой – ему-то приходилось переживать подобное – непрерывно!

Вечером мы распили полбанки, да я еще поверху хватанул димедрола – чтобы окончательно себя оглушить и как следует проспать эту ночь. Вяло поболтали о том, о сем, и я, сам не помню как, вырубился.

Проснулся среди ночи, рывком. Окружавшая меня явь была черна, словно сажа. Справа раздавалось мерное дыхание моей милой. Слева – полная тишина.

Я пощупал то место, где должен был лежать Рыжий. Зашуршала сухая солома. Ни Рыжего, ни его спальника на месте не оказалось.

Я тронул подругу за плечо. Она забормотала во сне. Потряс ее посильнее.

– А? Что? В чем дело? – спросила она.

– Рыжего нет. И спальника. Ты не знаешь, где он?

– Откуда? Да спи, дурит малый... – ответила она хриплым со сна голосом.

– Погоди. Ты не спи. Пойду его поищу.

На ощупь, рискуя сверзиться вниз, я поднялся на плато над пещеркой. Крикнул: «Эй, Рыжий!..» – почему-то срывающимся полушепотом. Никто не отозвался. Побродив по плато, освещенному только звездами и чуть мерцающим, ровно дышащим морем, я его не нашел.

«Пойти, что ли, опять завалиться? Утром разберемся», – подумал я. Но не смог этого сделать. Что-то толкнуло меня под сердце: «Ищи...»

Чуть не на четвереньках, на ощупь, двинулся мимо пещерки, вниз, ко дну каньона. Где-то на середине пути услышал оттуда, из темноты, едва слышное:

– По-мо-ги-те...

Голос был очень одинокий и жалобный.

– Рыжий? Ты где?

– По-мо-ги... Я тут... – едва слышно выдохнул он со дна каньона. Чисто физически я не мог его слышать и отреагировал, как собака на ультразвук. Не разбирая пути, рискуя оступиться и ухнуть вниз, я бросился на мучительный зов. Трясущимися руками нащупал коробок спичек, загремевший в полной тиши.

То, что я увидел перед собой в неверном свете гасну-

щей спички, повергло меня в такой ужас, что я чуть не вырубился. Жертва бомбардировки.

Юноша лежал на дне каньона прямо в своем спальнике, поверх коего – разбитая, залитая кровью голова и руки, одна из которых была неестественно вывернута. Глаза были открыты и ясны, но говорить он больше не мог.

– Спускайся сюда! Рыжий разбился! – закричал я, повернувшись в сторону нашей пещерки.

Вскоре она спустилась, увидела Рыжего, и ее рука, которую я безотчетно принял в свою, задрожала.

–Трогать его нельзя! – сказал я. – Принеси одеяло. Накроем. До поселка – два километра. Что делать?

Она ничего не ответила, только молча дошла до пещерки по неверной тропе и принесла одеяло.

Мы накрыли его и стояли, не зная, что предпринять.

– Потерпи, миленький, – сказала моя подруга. – Все будет хорошо. «Очень хорошо, – подумалось мне. – Он умрет, а меня расстреляют за убийство. Запросто! Может, мне это гэбуха подстроила?»

И, словно в подтверждение моих мыслей, наверху, на плато над пещерой, зажегся яркий фонарь и жесткий угрожающий голос прогремел:

– Эй, вы! Кто такие?

– А вы кто такие?

– Сейчас узнаете.

Я нагнулся и нащупал на земле обломок плитняка, каких много валялось вокруг.

«Его замочили, сейчас за нас примутся!» – мелькнуло в слегка помутившейся голове. Потом, пока группа мужчин, освещая себе путь фонарем, спускалась вниз по тропе, я понял, что мое поведение – глупо и стоять над тя-

жело раненным, держа в руке камень, – полный идиотизм. Я выпустил камень из руки, и он упал с сухим стуком.

Оказалось – пограничный дозор. Страшен черт, да милостив Бог. Проверив наши документы, старшой, звания которого я не разглядел в темноте, приказал:

– Захаров, беги на заставу, вызывай по рации «скорую». Сюда, в бухту Тихую.

К остальным он обратился не в приказном, но будничном тоне, в котором слышалось сочувствие к происшедшему с ленинградцем несчастью:

– Ну что ж, придется поработать, ребята.

Мы переложили Рыжего на одеяло и где водой, ушибаясь о торчащие из дна отвесные известняковые плиты, где берегом потащили его к бухте Тихой, или Мертвой – туда, куда поверху подходила дорога. Вещи мы бросили в пещере.

В приемном покое феодосийской больницы раненого положили на каталку и увезли оперировать. А мы остались ждать результатов. В помещении, облицованном белой кафельной плиткой, было полутемно и пахло карболкой.

Дежурный врач с редкими прилизанными волосами и какими-то чахлыми усиками развлекал нас страшными историями о жертвах Карадага:

– Вот заберется какой-нибудь пионер на вершину скалы, а слезть – не умеет, – рассказывал он. – В результате – или сам сверзится, так что его в совок собирают, или снимут его вертолетом, и штраф – ужасающий. Карадаг-то закрыт!

Вскоре в приемный покой ввалилась парочка, являющая собой как бы живую иллюстрацию его слов. Особенно один из новоприбывших. Это был веселый, пьяноватый

и разухабистый парень со средней величины надрубом на лбу. Его спутник также не выглядел особенно грустным.

– Привет, док! – сказал тот, что с разрубом. – Лобешник зашей, жить мешает!

– Ты где это так? – спросил доктор.

–Да на мотике мы, в поворот не вписались! – ответил дружок пострадавшего.

– Надо бы запротоколировать...

– Кончай разводить бюрократию. Шей!

Было видно, что доктору хочется поскорее отделаться от этих веселых ребят. Почему – я не знаю. Врач с пациентом зашли за ширму.

Минут десять оттуда раздавались приглушенные матюги, а потом пострадавший и врач вышли к нам. Лоб молодого мотоциклиста украшали четыре узелками завязанных шва.

– Давай хоть перебинтую! – сказал врач.

– Еще чего! Мне без надобности! Покатили?

– Ну, покатили!

–Так-так, – сказал доктор, кисло улыбаясь в свои вялые усики. – Смотрите, доездитесь!

Не прощаясь, молодые мотоциклисты вывалились из больничного помещения.

– Д-да, контингент... – задумчиво сказал лекарь. А потом поглядел на нас, уныло «загоравших» на лавке, и сообщил: – Пойду на хирургическое, узнаю, как там ваш товарищ.

Через полчаса он вернулся.

– Хреноватая ситуация, – сообщил он. – Перелом основания черепа. Левая рука сломана. Что там во внутренностях – пока неизвестно. Думаю – ничего страшного, спальник помог. Но в целом – положение опасное...

– Нас пустят к нему? – спросил я.

– Сейчас он под наркозом. К утру приходите.

Так мы бросили замухрыжистый всесоюзный курорт и перебрались в Феодосию. Хмуро протопали вдоль богатой, застроенной некогда виллами греческих купцов, вполне левантийской на вид набережной, продуваемые знобящим утренним бризом, и сели на городской автобус, доставивший нас прямо к воротам больницы. Мы не пошли в ее беленые корпуса, а решили сперва приискать жилье и складировать наши вещи. За три рубля в сутки сняли комнату в пристройке простого, без украс, слободского частного дома, крытого марсельскою черепицей и, стало быть, стоявшего здесь с давних пор. Надыбали поблизости заводскую столовую, где просто, недорого и чисто готовили, и позавтракали в молчании.

Прихватив с собою стаканчик свежего творога со сметаной, двинули в больницу. Рыжий лежал в коридоре у открытого окна, его расплывшаяся, в испарине физиономия чернела от присохшей крови, которую никто не удосужился обтереть. Вокруг него вились мухи. Моя подруга помыла ему лицо смоченным в туалете носовым платком, скормила две ложечки творога со сметаной.

Тут подошел незнакомый нам молодой врач.

– Как у него дела? – спросил я.

– Да видите – плывет человек, сознание – сумеречное. Пока ничего не могу сказать. Фифти-фифти.

– Нельзя ли его в палату?

– Пока что рано, – ответил врач, разглядывая свои плетеные туфли. – А там – посмотрим.

Я понял, что Рыжий пребывает в критическом состоянии, и пока оно не изменится в ту или другую сторону,

палаты ему не дождаться. Попоив его с ложечки чаем, мы ушли восвояси, испытывая смешанное, зудящее чувство страха за него и себя.

От нечего делать мы бродили по окрестностям, осмотрели три средневековые армянские базилики, притулившиеся рядом с больницей, высокие стены генуэзской, кажется, крепости. За одной из базилик стоял частный дом, и оттуда выскочили и бросились на нас две крупные овчарки. Мы едва отбились от них, испытывая все то же не покидавшее нас ощущение какого-то негромкого ужаса.

Рядом синело море, где местные ребятишки удили рыбу с железобетонной полуразрушенной пристани, мы выбрали для купания небольшой фрагмент пляжа, ограниченный заводской стеной и прижатый почти вплотную к воде рядом ангаров для лодок, от которых вели рельсы для спуска суденышек на воду. Прохладная, горько-соленая на вкус влага остужала и холила тело, но души остудить не могла.

Ночью возлюбленная шептала мне на ухо: «Не печалься! Все обойдется, миленький!» – почти те же слова, что Рыжему там, в каньоне. Но они почему-то действовали, и, насытившись горькой любовью, я засыпал.

Через несколько дней Рыжий выкарабкался.

– Завтра в палату переводят! – с гордостью сообщил он. На лбу его розовел изрядный розовый шрам. В первый и последний раз в жизни пожаловался: – Экзема замучила – не могу!

Он уже садился в постели.

Вскоре наш отпуск иссяк, и мы отвалили домой, в Ленинград.

У станции метро моя милая тронула меня за плечо и сказала:

– То, что произошло с тобой и твоим другом...

– А ты что, себя отделяешь?

– Да, отделяю. Я не могу связать свою судьбу с неудачником. Так что – прощай.

– Ну-ну, – отвечал я с иронией. Повернулся и пошел восвояси. Больше мы с нею не виделись.

Мой дом, стоящий на набережной Мойки, смотрелся как новенький – его только что выкрасили. Утренние лучи падали в реку под углом, и по самому карнизу его бежали волнообразные светлые блики от воды; это светлое мельтешение создавало ощущение пульсирующей жизни и рождало надежды, смысл которых, впрочем, невозможно было прочесть. Впервые за последние две недели сделалось светло на душе.

– Не горюй! – сказал я себе. – Все еще впереди!

Прошло уже много лет. Я не интересовался судьбой своей бывшей пассии, но недавно один общий друг рассказал, что любимая моей молодости живет не особо-то хорошо: у нее на руках старый муж, инвалид по алкогольному делу, и странноватый великовозрастный сын. Но она не унывает – поет, когда чистит картошку; это мой друг лицезрел, что называется, своими глазами.

Рыжий лет десять назад уехал в Баварию, и сюда – ни в какую, так что встретиться нам, вероятно, приведется лишь на Страшном Суде, когда небеса свернутся, как свиток.

Ну, о моих-то успехах вы каждый день узнаете по радио, из газет, а не то и по телику... Не так ли? Не так, разумеется. Шучу. А способность шутить да не падать духом – не она ли, сограждане, и содержит в себе утешительные итоги?

*1999*

# УЧЕНИК

*Посвящается П. Крусанову*

Саломатин был вечный ученик у действительности. Не банка с кистями или тюбики с красками задевали его воображение, когда он работал, а тот неизменный, но вечно ускользающий образ, который он в жизни узрел и пытался, в меру скромного своего дара, как-то запечатлеть на куске наспех загрунтованного оргалита или распяленной на подрамнике мешковины.

Нельзя сказать, что был он совсем уж безвестен. К примеру, участвовал он в небезопасных по прежнему времени акциях, организуемых его друзьями по живописному цеху: и на квартирных выставках выставлялся, и на улицу с натюрмортами выходил, откуда и был отправляем в милицию на жёлтом фургоне с красным крестом, как последний питерский забулдыжка.

Бывало, шатался к нему участковый и, дыша перегаром, требовал срочно устроиться на ближайший ДОЗ распиловщиком, а не то, грозил он, и по тунеядке можно залететь в Кириши.

Никуда, впрочем, Саломатин не залетел – наверное, потому, что был он по природе своей пассивен, организаторской жилки у него не было, и властям он казался попросту полудурком.

То ли дело – Лина Качурина – она-то с властями повоевала, на горячих собраниях повыступала, однажды даже отсидела ни за что ни про что пятнадцать суток и, ставши личностью почти героической, а в кругах западного маршанства и легендарной, разъезжала теперь по городу

на оранжевом «Мерседесе», в те редкие, конечно же, дни, когда не пребывала в Париже и прочих пикантных, по слухам, местах на географической карте.

Где-то в середине октября потянуло Саломатина на природу. Все уже давно с дачек съехали, что, впрочем, и было для Саломатина причиной решающей.

– Поживу один, – подумал он, – покайфую на вольном воздухе!

Воздух в чужой развалюхе был и впрямь достаточно свеж, тем более, что печурка оказалась весьма-таки нравной и, пока последний уголек не остыл, грозила угаром; однако художник Саломатин кантовался здесь почти месяц.

Листья с деревьев потихонечку облетали, и в ясные осенние дни дачный поселок становился сквозным, видать было далеко, тем более, что домик его стоял на пригорке; сухо торчали на фоне желтого неба крестики телевизионных антенн; как-то отдельно от стен плавали в воздухе белые оконные переплеты; неряшливо-черные кляксы вороньих гнезд уплотняли пустые кроны берез.

Но особым источником медитации стала для него яблоня на соседнем участке.

Хозяин участка, отставной архитектор, помер еще весною, но сад-то жить продолжал; завязались и вызрели на старой яблоне яблоки, листья потом уже облетели; и вот – голое суковатое дерево, украшенное неубранными плодами, теперь манило к себе непонятным духовным голодом.

Яблоки были развешаны в свободном и строгом ритме, не по закону заливистого, вопиющего изобилия, но – точной меры; здесь доминировали – пространство, объем;

казалось, с таким же верным расчетом могла быть укомплектована и какая-нибудь из планетных систем. Неяркие, крупные, матово-бледные (когда уходило солнце) плоды, казалось, тихо летают вокруг ствола. Но нет – это была только кажимость.

Саломатин яблоню не писал. Он вообще буквально с натуры не работал, полагаясь на контуры тех ощущений, которые застревали в его сознании с течением жизни. И писал уже их, обобщенные контуры, но не саму натуру, которая подчас казалась ему размалеванною и наглой, как голая проститутка.

С первого взгляда он знал, что тихая облетевшая яблоня уже запечатлелась в его душе, и, занятый колкой ли дров, добыванием ли воды из колонки, вдруг замечал, что глаза его безотчетно устремлены в ее сторону, будто он ищет еще дополнительных сведений в распорядке архитекторских яблок, будто сокрытая и важная формула сидит в чужой кроне и не дается.

Сварив себе поутру какой-нибудь крупки, он неторопливо ел кашу, запивая крепким сладким чаем, а после – работал. Осенние дни коротки, и когда за стеклом чужой настывшей веранды, пропахшей сохнувшим на веревке укропом, собирались бесцветные и скучные сумерки, он чертыхался. Потому что при электричестве писать не любил, а светового дня ему не хватало. Он знал, что сегодня с работой пора завязывать, что общение с невидимым потребителем и ценителем, являющееся сутью любого художественного акта, должно быть, к сожалению, прервано, и что придется переходить на унылый диалог с собою самим, душой неуютной и одинокой, да, право, и вовсе не интересной.

Когда-то, во времена первой молодости, был он женат, имел дочь, но семья его как-то сама собой развалилась, и осталась – занудная, кислая холостяцкая педантичность, с которою он стирал носки, мыл посуду да вытирал пыль с подоконника в своей неуютной комнатке в коммуналке, служившей ему и гостиной, и спальней, и мастерской.

Жить в коммуналке – не сахар, тебя там все время окружают чужие, и организованные им для себя скромные каникулы здесь, среди голых деревьев, очень ему подходили. Была здесь возможность существовать непритворно, со спокойным достоинством. Опять же, и денег на эту простую, почти что первобытную, жизнь, уходило – копейки.

А как утишает сознание пригородная жизнь! Забравшись от сквозняков под толстое ватное одеяло, он лежал в темноте и не вслушивался, нет, а легким сознаньем воспринимал шелест ветра над крышей, дальнее, деловитое тарахтение электрички, стук дождя о стекло. «В бочку водица катится, в бочку», – думал он под журчание водостока, и сам ухал – в бочку ли, в яму ли – в сон. Прошла уже первая декада ноября, отшумел уже – (черно-серое с красным – ватники с флагами) – праздник у поселкового магазина, а он все сидел в своей тихой скворешне и обратно не собирался.

– Покантуюсь до первого снега, – сказал он себе, – а там – и на зимние квартиры.

Но – человек предполагает, а Господь располагает – было его тихое уединение неожиданным образом прервано. Однажды (он только что вымыл кисти и нацелился на очередную нагрубо загрунтованную холстину) он услышал из-за забора, с дороги, частые и нетерпеливые сигналы клаксона.

Причем не привычные по уличному делу гудочки, а какое-то залихватское игогоканье. В чем был – то есть, в драной какой-то ветошке, заимствованной из хозяйского сундука для согрева, выскочил он с веранды на улицу. Сквозь дырки в нечастом, буром от непогоды, штакетнике он увидел нечто тропически-яркое, как продолговатый отполированный апельсин. В соответствии с какой-то особой, автолюбительской, понтовой манерой, пассажиры из оранжевой тачки не вылезали, продолжая настойчиво оглашать немые окрестности механическим ржанием.

Не глядя под ноги, ломая ледок мелких лужиц, попадавшихся ему на тропинке, Саломатин выбежал за ограду. На переднем сидении, у руля, он увидел Лину Качурину, а на заднем пригрелись какие-то пестрые иностранцы – мужчина лет сорока и девушка вдвое меньшего, на вид, возраста.

Саломатин пытался открыть блестящие дверцы, чтобы встретить гостей с подобающей вежливостью, но дверцы почему-то не поддавались.

– Погоди-ка, любезный, ручки поотрываешь! – опустив стекло, сказала Качурина со своею обычною басовитою интонацией. – У меня тут замкнуто изнутри!

И ведь не вылезла из машины, настырница, пока ее на участок не загнала, отхватив изрядный ломоть георгиновой клумбы своими рубчатыми, несоветскими шинами.

– Попадет от хозяев! – огорчился про себя Саломатин. Гости наконец повылазили из машины. Как-то буднично, совершенно по-местному, вился над ними зябкий парок от дыхания.

– Здравствуйте! – сказал иностранец. – Меня зовут Джордж. А ее – Габриэль.

Он выговаривал русские слова с особенным тщанием, довольно-таки характерным. Габриэль оглядела художника сверху до низу и сделала книксен в манере несколько издевательской, ибо ни ее возрасту, ни обстоятельствам места сие телодвижение вовсе не соответствовало. В глазах ее прыгнул чертик.

С Качуриной Саломатин обменялся крепким рукопожатием. В принципе, они любили друг друга – не тою, конечно, любовью, которая укладывает партнеров под одно одеяло, но – хорошим товарищеским чувством серьезных людей, и слабая толика эроса, которая незаметно и неизбежно подмешивалась в их отношения, тому отнюдь не мешала.

– Да вот, понимаешь, решила Жоржику тебя показать, – сказала Качурина. – Он – парень свой, ты его не стесняйся.

– Брюссель. Галерея «Арти»! – сказал Джордж и протянул ему маленькую, сияюще-беленькую визитку. Саломатин важно кивнул, на манер киношного офицера, и машинально пихнул ее в карман хозяйской ветошки.

Сквозь выморочную осеннюю зябкость пустого сада он повел их в свое жилище.

– Не раздевайтесь, а то замерзнете! – предупредил он. – Сейчас натоплю!

Заполнив печурку звонкими березовыми дровами и растопив, он отпросился на веранду – переодеться. И пока он торопливо напяливал свою городскую прохладную одежонку да разворачивал сработанные холстины лицом к стене, гости входили и выходили, нестеснительно хлопая дверью, негромко смеялись, о чем-то болтали на иностранном.

Вернувшись, Саломатин увидел, к своему удовольствию, что комната приятно преобразилась. Виною тому был грубый, деревенской работы стол, накрытый теперь

новенькой пластиковой скатертью, искусно имитирующей кружевную, и уставленный: парочкой штофов английского джина, консервными банками, здоровенной бутылкой французской минералки «Виши». На скатерти были небрежно разбросаны пестрые пачки американских сигарет: «Мальборо», «Кемел», «Пелл-Мелл».

– Не хотите ли выпить? – задрав брови к узкому складчатому лбу, спросил его Джордж.

– После, после! – досадливо махнула рукою Качурина. – Для начала – о деле.

– О каком? – искренне не понял ее Саломатин.

– О таком! – сказала Качурина. – Ты у нас художник, или кто?

Иностранец посмотрел на нее с удивлением. Неужели эта весьма деловая особа тащила его в такую дыру, чтобы свести с человеком, который не понимает, что серьезные люди за просто так бессмысленных пикников не устраивают? Ему не без удовольствия вспомнилась похожая ситуация где-то на окраинах Браззавиля и круглая сумма, которую он тогда заработал.

Габи, распустившая и распушившая волосы, отчего ее мелкое личико сделалось, условно говоря, колдовским, тихо, с иронией улыбалась. Ее забавляла вопиющая экзотичность окружающей обстановки и странность ситуации, в суть которой, при незнании языка, она въехала моментально. Нравился ей этот сумрачный увалень, нравился нипочему – просто так. И Джордж, который корректно и незлобиво обойдет и объедет любого – не то, что этого диковатого русича, ей тоже по-своему нравился, несмотря на свои ужасающие попытки внести в их спокойные отношения черточки неуместного романтизма.

– Вот что, – сказала Качурина, – полноте Ваньку валять. Я к тебе серьезного купца привезла, на предмет знакомства с твоими нетленными творениями. Бухнуть мы всегда успеем. А сейчас – показывай вещи.

Большая, красивая, ширококостная, вся она лучилась жизненной силой. Как тут с ней было не согласиться?

На холодной веранде печально пахло укропом. Жемчужно-серый, рассеянный свет поздней осени, незаменимый для написания и оценки картин, лился в большие, с наивными уездными ромбиками, окна. Саломатин с понятным волнением (первый показ!) прислонял наработанные за месяц картины к спинке деревянного стула.

Как и бывает в подобных случаях, в глаза ему особенно перли огрехи и недоделки, и он сильно мучился в ожидании грядущей психологической та́ски. «Лажа все, – думал он, – самодеятельность!»

Джордж выглядел сосредоточенным и несколько, все же, разочарованным. Девица глядела на живопись с полной симпатией.

– Ну, все, отстрелялся! – с облегчением вымолвил про себя Саломатин, поворачивая последнюю работу к стене. Внешне он был довольно спокоен, только лоб у него вспотел, и он вытер пот, отвернувшись, рукавом пиджака.

– Так, – сказал Джордж, – весьма интересно... Лина мне говорила, что вы – художник религиозный. А где же иконы, колокола, купола?

– Ну, этого товару полно и в Катькином садике, – ответил Саломатин угрюмо. – Внешняя атрибутика меня не интересует. Подобное вам любой балбес обеспечит, при помощи трех шаблонов и аэрографа.

– Наверное, вы изображаете какой-нибудь скрытый, эзотерический смысл?

– Изображаю я или нет – вам виднее, – сумрачно улыбнулся художник. – Вообще-то, тут все недоделки, увражи... Мура, одним словом...

– Ну, ладно, не прибедняйся, дундук! – рассердилась Качурина. – Тоже мне, божья невеста, монашенка подгородная! Крепко сработал – и молоток. К Новому году напару выставим. Ты не против?

Саломатин молчал. В принципе, он был не против, но это они уж сами обсудят, без посторонних. А к ее повелительному тону и мужиковатым прихватам он давно притерпелся.

– Очень признателен за показ! – улыбался маршан. – А теперь вы нас, может быть, пригласите к столу? Отметить знакомство?

Печь давно прогорела, и жар превратился в пепел, но в комнате было тепло. Усугубили ощущение довольства – хорошее курево, еда и питье. Вскоре компания прихмелела, и Саломатин с худосочной девицею уже посмелее обменивались дружелюбными взглядами.

– А в Газа и Невском вы выставлялись? – спросил его маршан невзначай.

– Да вешал какую-то чушь! – отвечал Саломатин. – Даже в каталогах фигурировал, чего и стыжусь. Нельзя позволять соплякам выставляться, с дурацкими своими попытками! Но были там и ребята серьезные. Рохлин, к примеру...

Качурина поглядела на иностранца с мнимым отчаянием.

– Пожалей ты младенца, не доставай! – читалось в ее всеопытном взгляде.

– Ты лучше еще расскажи про Костаки! – буркнула она Саломатину. – Как ты ему картинку не отдал!

– Ну, сколько уж можно пилить! – возмутился художник. – Не мог я, не мог, понимаешь, тогда с работой расстаться! Только что новую жилку нащупал, а тут – отдавай! Приятный он, право же, человек, но я не мог, понимаешь?

Улыбнувшись, он процитировал:

Мне Костаки не судья:
Прав Костаки – прав и я!

При звуке знаменитого имени маршан встрепенулся.

– А я как, по-вашему, подходящий *товарищ*? – обратился он к Саломатину, явно красуясь кстати подвернувшимся советизмом.

– Конечно, хороший! Гляди, какое угощение выкатил! Не всякий фирмач отважится! – неожиданно сгрубил Саломатин. Он чувствовал – выпивка, к которой до этого он уже несколько месяцев не прикасался, оказывает на него свое конкретное действие.

– Для хорошего человека дерьма не жалко! – парировал Джордж. Качурина только головой покачала. Да, не терял он времени в обеих столицах, этот самообучающийся компьютер в джинсах.

Тут Габи что-то неожиданно произнесла по-французски. Дослушав ее, иностранец расхохотался.

– Бедная девочка спрашивает, как вы относитесь к свободной любви. Я знаю, вы, русские, сердитесь на такие вопросы. А у нее это – пунктик. Не хотите – не отвечайте!

– Положительно! – усмехнулся художник. – Но свобода

налагает особые обязательства. Понимаете, в неволе человеку простительно и обмануть, и слукавить, а свобода...

– Кончай базар! – пресекла его Лина Качурина. – Эдак мы никогда до дела не доберемся!

– Может, выпьем... на посошок? – сказал Джордж.

– На посошок пьют последнюю! – улыбнулась Качурина. – А ты еще, как вижу, не оттянулся, алкоголик несчастный!

Выпили. Приятственно стало. Закусили солеными мидиями из банки. Закурили, расслабившись. Где-то внизу, на дальнем участке, кто-то упорно бухал кувалдометром по железу.

– Да, – сказал Джордж, морща складчатый лоб. – Я бы что-то у вас на пробу купил. Красную, например, и зеленую. Продадите?

– А вам разве нравится? – спросил Саломатин.

– Дело тут не во мне, – ответил маршан. – У меня критерии рыночные. Дело – в Габи. Знаете, у этой студенточки-недоучки – потрясающий нюх на хорошую живопись. Вот мы у нее и спросим.

– Та тиль плю? – обратился он к девушке.

– О!.. Да!.. – отвечала она по-русски, и рассмеялась. Саломатин неловко, коротко хохотнул. Ему хотелось подарить им картины и отвязаться, но он боялся Качуриной.

– Сколько дадите? – с наибольшей, на какую был способен, развязностью спросил он маршана.

Джордж достал калькулятор, для понта пощелкал по клавишам и назвал огромную, как казалось художнику, четырехзначную цифру.

– Пройда! – подумала Лина, но от комментариев воздержалась.

Уж потом они все крепко врезали. На художника напало чувство огромной благодарности, смешанной с умилением.

– Живем! – думал он. – Матерьялов-то сколько накупим, Господи!

Деньжищи лежали грудой на сундуке.

Последнее, что запомнилось в этот день Саломатину – большое, красное, закатное солнце, и при этом неестественном, химическом свете он трясет соседскую яблоню и собирает плоды в холодную алюминиевую миску. Рядом стоит Габриэль и хохочет. Потом он отдает миску девушке, и тю-тю – вырубается. Так и заснул одетый.

Проснулся он с горем в душе. Внутрь хибары через окошко лился непривычный, чуть подсиненный свет, и здоровая груда денег на сундуке отливала, почему-то, серебряным. Каркнула ворона – тревожно, нервирующе. Гостей в доме не было.

С трудом разминая затекшее от неудобной ночевки тело, Саломатин принес ведро из сеней и побросал туда окурки, объедки, пустые бутылки. Потом прошел на веранду и только теперь заметил, что за ночь упал первый снег. Значит, пора убираться в город.

Навьючив на спину увязанные работы, он запер дом и, последний раз обернувшись уже от калитки, увидел чужое, обобранное им дерево. Стояло оно, как ни в чем не бывало, белело налипшим на сучья снегом, но вид его, одинокий и отрешенный, увеличил ощущение горя.

Пустая поутру, холодная электричка противно вибрировала, жуя километры.

– Как же так! – думал художник. – Весь месяц работать и жить достойно, сосредоточенно; забыть о тщете

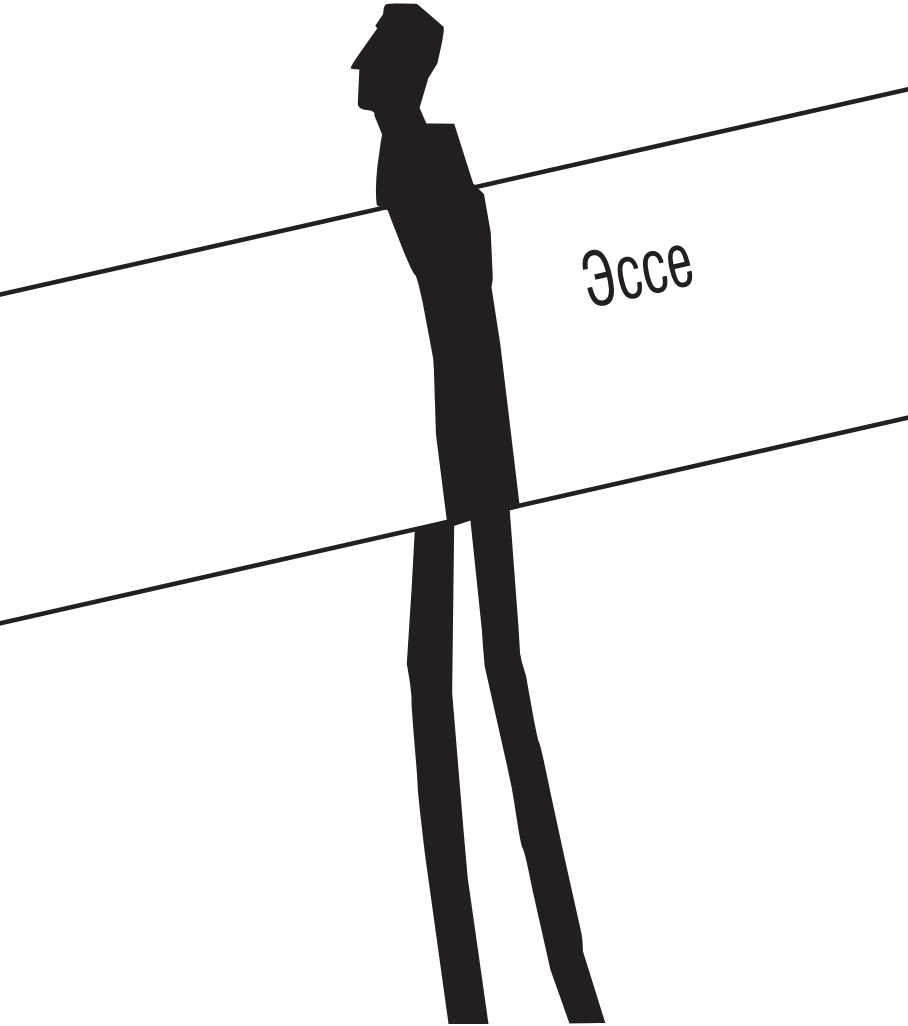
и мелочах повседневного, и тут – накиряться и обтрясти соседскую яблоню, как сопливый мальчишка, как любер какой-то поганый!

И этот заискивающий, лакейский оттенок, который внесли в его отношения с иностранцами деньги! Б-р-р... На самом-то деле он же гордец, и цену себе настоящую знает, не ту, что в целковых, а подлинную, другую! Да... И так обломаться!

Трудная штука – действительность, и труднее всего в ней – принять и простить себя самого. Так, весь в раздрае, Саломатин и доехал до города, а потом – до станции метро «Василеостровская», заколоченный в свои похмельные комплексы, как в стальной бункер.

Выбрался из метро. На асфальте снег был растоптан, но карнизики окон свежо и живо белели. Сбоку от станции толпились за своими прилавками торговцы цветами. Странное дело! Они упрятали свой товар в прозрачные плексиглазовые ящики и, чтобы цветы не замерзли, зажгли там большие белые свечи. И компактное ожерелье огней, по-церковному теплое, но и странное в сумраке зимнего петербургского дня, прянуло ему в душу, одарив прекрасным праздничным трепетом; пестрые блики волновались на венчиках срезанных роз, изогнутых плоскостях белых калл, крепких телесах хризантем. Свечи и цветы. Какое-то знание, о чем-то не раз уже виденном – весть. Сокрытый, еще не вполне им нащупанный смысл содержали они. Какой? Он должен это понять. И поймет, обязательно поймет, или вспомнит – скорее уж вспомнит – вспомнит, дай только срок.

*1990*


Эсse

# ТРУДЫ КОНСТАНТИНА ИЗ ПЕТРОПОЛИСА

Вспоминается картинка послевоенного детства: пестрый шатер карусели на Сытном рынке, а может, в Зоологическом. Когда запускалась она, врубалась соосная с нею пластинка, веселая. «Саша! Ты помнишь наши встречи?! В тенистом парке, на берегу?» Или что-нибудь в этом роде. Цвели на янтарном от солнца снегу синие тени-пятна. Горел золоченый архангел на Петропавловке. Детишки, напряженно и радостно улыбаясь, ухватившись за уши аляповато раскрашенных осликов, горбы верблюжат, кружились в каком-то счастливом остолбенении. Бравые подростки в темно-синих шинельках, на затылок сдвинутых картузах, подбочась погоняли коренастых буденовских коников, выжимали газ у почти настоящих, к платформе пришпиленных мотоциклов. Счастливые матери не могли наглядеться на радостный детский праздник.

И вдруг пластиночку заедало. «Саша! Саша!» – истерично и монотонно продолжала вскрикивать некая Клава. Эти-то монотонные выкрики заезженной, забубённой пластинки и нарушали праздничную иллюзию. Осыпалась с глаз золотая пыльца, и внезапно открылось замурзанное хавло совсем невеселой реальности. Вот задолбанные тяжелой работой, иссосанные простым бабьим горем вдовицы в черных платках на последние грошики развлекают свою полуголодную, рахитичную пацанву; злобные сироты нелегкого переходного возраста, голь-шмоль, безотцовщина с бритвами и ножами в карманах ремесленной обмундировки сами себя пытаются веселить на тиснутую по трамваям мелочугу; одноногий инвалид на самодель-

ном деревянном протезе, увенчанном нашлепкой водопроводного сгона – распорядитель карусели, – улыбается пьяно и некрасиво, неторопливо прицениваясь, кого бы из предстоящих баб зацепить на ночку грядущую, по грубой мужской нужде.

Вспоминается эта двоящаяся картина, когда читаешь романы Вагинова. Ибо видеть в веселом – ужасное, это горькое свойство глаза, было присуще ему в полной мере. И радостно-гадостная реальность богоспасаемой нашей отчизны – Города – услужливо этому свойству сопоспешествует.

Особенно обостряется эта двойственная черта в минуты, так сказать, геологического излома эпох, столь остро прочувствованного старшим современником Вагинова:

Хорошо, что нет царя,
Хорошо, что нет России,
Хорошо, что Бога нет,
Только желтая заря,
Только горы ледяные,
Только миллионы лет...

Что в этих стихах? Ощущение колоссальной тектонической сдвижки эпох, сравнимой лишь с наступлением иного геологического периода, мелового или ледникового. Но смена земных эр – это слишком крупно, глобально, не в минуту творится. Вот и копошатся сиротеющие пережитки былой флоры и фауны, пытаясь жистянку свою сберечь, упасти, как-то продолжить свое неактуальное существование: «Вдоль стены стояли бывшие дамы,

предлагая: одна – чайную ложечку с монограммой, другая – порыжевшее, никуда не годное боа, третья – две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая – тряпичную куклу собственного изделия, пятая – корсет девяностых годов. Та седая старушка – свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта – сравнительно молодая, – сапоги довольно поношенные своего умершего мужа».

Те же попытки выживания за счет сохранения прежних ценностных мелочей или мелочной торговли ими, наблюдаем мы и в культурной среде:

«Мы последний остров Ренессанса, – говорил Тептелкин собравшимся, – в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба».

С тем же пафосом, с которым невиннейший старичок Василий Васильевич Ермилов цепляется за воспоминания о своей недавно умершей дочери (тоже черта неслучайная), – Тептелкин хватается за ветшающие тряпицы так называемых «вечных культурных ценностей». Но перемены происходят нешуточные, прелая ткань рвется, и честный клубный работник, он же солидный гуманитарий, орлом садится на место «видного, но глупого чиновника». Смутировал. Приспособился.

Но он и ему подобные, в сущности, обречены гибели, пускай не всегда телесной. Вот почему в речах персонажей звучит такая предельная безнадега: «Послышались мужские шаги. На дороге появилась сморщенная цыганка в высоких смазных сапогах. Увидев башню и компанию, она быстро побежала к ней:

– Дай погадаю, дай погадаю! Глаза твои заграничные!

– Не надо, не надо, − говорили ей, – мы свое будущее знаем!»

Разлом привычных приемов и представлений, сквозь которые пробивается вулканический огонь и сера нового, еще пламенеющего бытия, приводит к самоостранению жизни, к тому, что гротеск – главное свойство вагиновского мироощущения – наиболее адекватен как способ ее изображения.

«Уже дома (Торопуло) обратился к Нунехии Усфазановне:

− Ведь ананасы бывают двух пудов, и у нас были такие ананасы, вот, например, в 1866 году, на обеде в честь производства купца Громова в статские советники был такой ананас.

− Неужели был? – спросила Нунехия Усфазановна, бросив возиться у примуса, и глазки у нее разгорелись. – Должно быть, очень вкусный! – добавила она. – А теперь даже нет самых маленьких. «Ну, маленькие-то будут, – с горечью подумал Торопуло, – а больших-то не будет».

Читаешь, – и пытаешься осознать, то ли сама реальность подсказала столь внушительный плод, величиною с осадное ядро (в тексте «Бамбочады» меню обеда приведено почти полностью, как реальный документ), то ли это буйное преувеличение разыгравшейся авторской фантазии? Что, в сущности, и не важно, ибо жизнь на изломе то и дело подсовывает несоразмерности в духе Бамбоччио.

Углубим прежде сказанное. Может очень легко показаться, что живописует автор только лишь краткий исторический отрезок, реальные жизненные трагедии, связанные с переменой образа правления. Подобный взгляд был

бы поверхностным. Ему, тонкому знатоку человеческой культуры, истории человеческой, интеллигенту круга Бахтина, было бы слишком мало подобного сиюминутного отражения.

«...Мы теряем волосы, зубы, идеалы, здоровье, свежесть»... Прошу прощения, я, кажется, перепутал цитаты. Это у Беккета. У Вагинова о том же, но, может быть, легче и живописнее: «Лишенная листьев, меня помнит, как мы сидели под ней много, много лет тому назад белые, желтые, розовые и говорили о конце века. Тогда зубы у нас были все целы, волосы у нас тогда не падали (вспомните старуху, торгующую своими юными волосами – *Е.З.*), и мы держались прямо»...

В этом отрывке описываются, как будто, последствия разрухи и гражданской войны. Но Вагинову был ведом образ смерти живородящей, старухи беременной. Вечная гибель. Но и вечное возрождение. Такова сознательная двойственность его отношения к бытию, не только, как принято думать, пессимистического. Тому свидетель – неизвестный поэт, один из рупоров авторского мировоззрения: «Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, – продолжал неизвестный поэт, играя глазами, – мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем».

В чем же все-таки секрет видимой обреченности вагиновских героев? Почему их поведение, сам рисунок их судеб может быть истолкован как внутренняя капитуляция?

Да потому, что все они, люди милейшие, читающие в подлинниках не только кулинарные сочинения всего мира, есть наследники культуры гуманистической. И «огоньков критицизма» – недостаточно в данных обстоятельствах

для того, чтобы сохранить свою нравственную физиономию. Пусть они «духовно плюнули на проходящих мимо пионеров». Сами прекрасно ведь понимают, что это – всего лишь жалкая фронда.

Пусть негодует Тептелкин: «Современники, – думал он, – отличаются невозможной формой изложения, полным отсутствием духа критики, крайним невежеством и чрезвычайной наглостью».

Пусть так. Но не следует забывать, что идеи, которыми руководствуются «современники», есть крайнее выражение гуманистической, от Возрождения идущей традиции, разбожествившей отношение к человеку. И тептелкинской среде, возросшей на гуманистических принципах, тут нечего по существу возразить. В прозе Вагинова есть и персонажи-мистики, и философы, нет только верующего человека, который, может быть, единственный среди всех смог бы высказаться «по делу». Лишенные субстанции вероисповедания, жизнь и культура в своей основе обезоружены. А она, культура то есть, является главным героем вагиновской прозы.

Я специально не систематизирую цитат из разных его романов. На мой взгляд, все три книги Вагинова – единый роман о судьбах русской культуры, вернее, о судьбах мировой культуры в России. В самом предмете вагиновского повествования заключается его оригинальность. Ибо, после Пруста, это, на мой взгляд, наиболее интересная проза, героем которой выступает культура, дорогая для нас еще и по своим интимным, кровным деталям. То, что герой Вагинова – реальность надличностного порядка, – формирует характер его письма. Это нескончаемый авторский монолог, в сущности, эссеического плана, монолог то ли-

рический, то горько-ироничный, то звучащий затаенною болью, то отдающий должное обычной и всегда новой радости человеческого прозябания. Игривый монологизм автора, тонко приоткрываемый, коренится в условности, масочности его героев, которые не что иное, как фантомы, не имеющие закрепленных свойств, и «неизвестный поэт» – вдруг «Агафонов» – фамилия намеренно низовая, чревоугодник Торопуло – сам упивающийся пейзажем ночного Города автор, желающий поделиться с нами своим упоением: «В это время персиковое освещение дня сменилось для Торопуло гранатовой окраской вечера и предчувствуемым виноградным зеленовато-голубоватым светом белой ночи.

Когда настало это сладостное виноградное освещение фонарей, вышел Торопуло. Чудный мир, привнесенный им, улыбался ему; просил назвать себя и показать людям».

Именно в том, что герои Вагинова живут эфемерною жизнью, и заключается секрет как бы небрежного обращения автора с сюжетом, когда сюжетная линия вдруг бросается на полпути, ибо неважно, что дальше сталось с той или иной тенью – она свое за автора отговорила. Сам он не прочь приоткрыть завесу над своим творческим методом:

«Я добр, – размышляю я, – я по-тептелкински прекраснодушен. Я обладаю тончайшим вкусом Кости Ротикова, концепцией неизвестного поэта, простоватостью Троицына».

В то же время ему ничего не стоит, и даже доставляет своеобразное эстетическое наслаждение, заставить персонажа заговорить как бы «не своим» языком, обнажив

всю его условность, призрачность его бытия в тексте романа. Даже «нормальный», традиционный, так сказать, авторский комментарий незаметно обращается дурашливой речью некоего «автора-персонажа», явно морочащей, игровой. То двупалым уродцем прикинется, то забубённым конформистом из послесловия к «Бамбочаде». В этих превращениях – самоценная интеллектуальная радость «игрового» повествования. Недаром «Труды и дни Свистонова» – это единственная – в своем роде – книга о том, как творится художественная проза.

Секрет подлинно живого художественного творения – в его окончательном оптимизме, ощущаемом через катарсис. В этом смысле оптимистичны трагедии Шекспира, «Вертер» Гете и многое другое, внешне – трагичное. Сама еще радость произведения, как вещи «искусно сделанной», «складно выраженной», о чем бы тут ни повествовалось, доходит до восприимчивого читателя. И мы, закончив читать трагедию «Борис Годунов», какою-то частью своего существа воскликнем: «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын! Ловко сработал!»

То же чувство, может быть, в каком-то ином, но схожем ракурсе, возникает, когда прочитаешь «Козлиную песнь» и другие романы Вагинова. Чувствуется, что на такое сотворчество со стороны читателя, на тонкое изыскание всех углов и изгибов его изощренной прозы Вагинов и рассчитывал.

*1981*

# ЛЕОНИД АРОНЗОН

Небольшое количество официальных публикаций Леонида Аронзона пришлось уже на время, прошедшее со дня его смерти, но что это были за публикации... Детские стихи, самодельные карикатурки... Одним словом, та, пусть иногда и высококачественная шелуха напряженной умственной работы, которая, именно в силу своей легковесности, только и могла пройти сквозь частое сито редакционных запретов, так что иногда серьезнейший и больной духом писатель, каким, скажем, был Хармс, представал перед нами в дурацком веночке детолюба и милописца.

...Собирая цветы, называй их: вот мальва! вот мак!
Это память о рае венчает вершину холма!
Не младенец, но ангел венчает вершину холма,
то не кровь на осоке, а в травах разросшийся мак!
Кто бы ни был дитя или ангел холмов этих тленных,
нас вершина холма заставляет упасть на колени,

на вершине холма опускаешься вдруг на колени!
Не дитя там – душа, заключенная в детскую плоть,
не младенец, но знак, знак о том, что здесь рядом Господь.

Леонид – по прошествии уже немалого времени – предстает все таким же глубоким и высоко одаренным.

Блеск литературной игры, разнообразная умелость версификации, вкус к оригинальному эксперименту, пусть не всегда безошибочному, присущи его стихам в полной мере. И пожалуй, главное, хоть и недоказуемое, интуитивное ощущение – в его поэзии содержится та звонкая

магия, по которой и узнаешь подлинного служителя муз. Аронзон принадлежал, если можно так выразиться, к старшему поколению новых ленинградских поэтов (я говорю именно о поэтах, а не о конъюнктурно ориентированных рифмачах, различимых невооруженным глазом). Это было более локальное, чем сейчас, но и более дерзновенное, первооткрывающее течение в ленинградской, да и общероссийской поэтической культуре начала шестидесятых годов.

Кто эти люди? Блистательный Бродский, утонченный Бобышев, даровитые Найман и Рейн, Еремин и Красовицкий... Все они как-то разбрелись из тоскливого Питера, многие – еще задолго до «эпохи отъездов». И Аронзон остался один, вернее – в обществе нескольких близких друзей, к литературе не принадлежавших.

Его облик запоминался. Короткая стрижка, рыжеватая курчавая борода, некогда сломанный, горбатый, так сказать «римский», – упрямый мужской нос. Несколько все это напоминало итальянские бронзовые бюсты времен Челлини. Леонид картавил и гундосил, но даже сами эти недостатки придавали его голосу нечто приятное и даже слегка величавое, особенно когда он читал свои стихи, – ударные звуки вылуплялись из его носовой полости с неким дополнительным звоном, напоминающим звучание чембало. Помню его приход в кофейню на углу Владимирского и Невского, в миру прозванную «Сайгон». Помню, как, притулившись у зарешеченного частым осенним дождичком окошка, поставив чашку с кофе на исцарапанную плоскость высокого одноногого стола, Леонид разговаривал с одним небесталанным местным подонком. Тот только что прочитал ему свои стихи, и Леонид говорил:

– Нет, Миша это не поэзия...

– А что же, по-твоему, поэзия? – вопрошал уязвленный автор.

– Я лучше скажу, почему не поэзия. Ты, Миша, слишком кайфуешь, когда пишешь стихи. Слишком тебя завораживает сам процесс созидания. Отдаешься ритму, игре словами. И незаметно для тебя стих обрастает бесконтрольными смыслами. – В подтверждение Леонид процитировал что-то из услышанного. – Так, брат, не пишут!

– Не знаю, не знаю, – отвечал его оппонент с довольно кислым выражением лица. – Тебе-то легко дается твое олимпийство – живешь ты в достатке, не бегаешь, как я, в поисках за лишней тридцаткой...

– Достойное возражение, – усмехнулся Леонид, и в его усмешке проступила легкая уязвленность. – Но при чем здесь поэзия?

То было время, когда от него отступился, и отступился довольно резко, его ученик. Не знаю, что послужило поводом к разрыву, причина же, я полагаю, в противоположном взгляде на то, что важнее для поэзии: квалитет иль живое чувство; в данном вопросе Аронзон, может быть даже вопреки своим теоретическим построениям, инстинктивно предпочитал последнее. В любом случае, эту распрю он принял близко к сердцу. И приход Аронзона в кофейню, где у них было много общих знакомых, – местечко, вообще-то, злачное и совсем не любимое Леонидом, чтение злых стихов в адрес ученика – воспринимались как формальный дипломатический акт, вроде объявления войны, но в интонации голоса, читавшего стихотворение, чувствовались усталость и сердечная боль.

То было преддверие его гибели. Прожил он с тех пор год или более, точно не помню, но твердо могу сказать – весь этот год его сердце разъедало чувство покинутости и непризнания, чему, собственно, способствовала и общелитературная, и общеполитическая ситуация. Чувство это, видимо, крепко укоренилось в его «Я», медленно убивая его изнутри, стало болезнью, которую он, впрочем, ни разу не позволил себе высказать в прямой жалобе.

Вернее – всего один раз.

Весть о его самоубийстве в горах Средней Азии воспринялась как нечто предощущаемое, интуитивно угаданное. Ведь именно в последний год его жизни наладилось между нами пусть неглубокое, но уважительное знакомство, которое не только обогатило меня, но и обострило предчувствие трагического финала.

Общее ощущение такое: был он остроумен, энергичен и грубоват. Речь его дышала улицей и в то же время была глубоко изысканна, артистична. Чувствовалась в ней та демократическая закваска, которая творениям многих нынешних литераторов прибавляет вескости и ума. Не случайно он так любил «Моби Дика». Он сравнивал эту книгу с Библией. Нравилось ему в этом романе его преднамеренная «топорность», нравился его ветхозаветный размах.

В личном плане его самовольный уход не может считаться случайным. Но в жизни и гибели каждого значительного человека есть нечто символическое, нечто обусловленное всеобщим. И в судьбе Леонида, мне кажется, есть следы подобной обусловленности.

Помимо понятного груза тогдашней исторической ситуации, давившего на плечи человека искусства в особен-

ности, на его плечах лежал дополнительный груз русского иудейства. Многие бросали перо, не в силах выдержать двойного давления; многие уезжали и отказывались от принадлежности к русской культуре. Он выбрал другой путь. Судить его мы не имеем права.

Напоследок расскажу о том, как я увидел его впервые. Это было в маленьком глухом кафе на Полтавской улице, где с официального разрешения собирались поэты и читали свои стихи. В этот день сюда пришел и Леонид. На свободную площадку рядом с огромной бело-синей китайской вазой вышел спортивно сложенный, коротко стриженный человек лет двадцати пяти и сказал: « Я прочту поэму «Прогулка» ». И вот, сквозь звяканье ножей и вилок, в желтом свете вечерних ламп, в колыхании грязноватого тюля оконных занавесок, скрывающих глухой питерский вечер, раздался голос поэта, как бы ансамбль старинной музыки зазвучал, и звучание это было полным и мелодичным.

После чтения из-за столиков поднимались поэты, произносили слова признательные и благодарные... Как разительно отличался этот вечер от другого, посмертного, где выступал литературовед Вацуро, где профессиональные актеры, запинаясь на слове «пах», неумело, но с комичной многозначительностью читали его стихи, где было очень много народу, но не было, по горчайшей иронии судьбы, единственного, кого впрямую это касалось и кому могло бы помочь, – самого Леонида Аронзона.

Когда же птица умерла,
Собралась уйма тут народа...

Как я уже отмечал, с публикациями на родине ему не везло. Несколько лет назад, при составлении сборника «Круг», энтузиасты-составители хотели включить в него стихи покойных ленинградских поэтов: А. Морева, Р. Мандельштама, Л. Аронзона. Но литературное начальство в такой возможности отказало, мотивируя свой отказ тем, что покойники не были членами «Клуба – 81», на базе которого составлялся сборник. Что, впрочем, не помешало проникнуть туда нескольким живым и энергичным «варягам».

А жаль. Ни одна, пусть великая, культура не может позволить себе роскоши отказаться от подлинного поэта. Не так уж их много на самом деле...

*1974-1989*

# КОЛОДЕЦ В ПЕСКАХ.

Вызывает грусть незаслуженное забвенье. Когда же ушедший художник по-прежнему знаменит, но непонят – грустно вдвойне. Не очень-то часто за штуками плутовского романа таятся отчаяние и надежда, разочарование в человеке и неистребимая вера в него, блестки истинной умудренности – те, в сумме, обязательные ингредиенты, без которых творенья не оживают, которым обязаны и своей популярностью. Читатель, даже неискушенный, в самой расстановке сюжетных зерен, в самой акцентировке повествования находит поддержку своим понятиям о добром и справедливом, понятиям простейшим и вечным, присушим человеку если не от рождения, то с первых шагов его по этой земле. И остается благодарен писателю, говорящему верно, без фальши.

Особенного почтения достойны те немногие авторы, которые в сложных, не запросто объяснимых исторических обстоятельствах сумели не разменяться. К их числу, несомненно, относится и писатель Леонид Соловьев, автор «Повести о Ходже Насреддине». Первая часть – «Возмутитель спокойствия» – закончена перед самой войной, в 1940 году. Вторая – «Очарованный принц» – в 1954-ом,

Что же особенно импонирует в стилистике этой книги? Прежде всего – ее описания, способные передать тот витальный тонус, ту неизменную сладость и грусть человеческого существования, то темное волшебство, которым чревата любая жизнь: «Зажигались яркие костры в чайханах, и скоро вся площадь опоясалась огнями. Завтра предстоял большой базар – и один за другим шли посту-

пью верблюжьи караваны, исчезали в темноте, а воздух был все еще полон мерным, медным и печальным звоном бубенцов, и, когда затихали в отдалении бубенцы одного каравана, им на смену начинали стонать бубенцы другого, вступающего на площадь, и это было нескончаемо, словно сама темнота над площадью тихо звенела, дрожала, переполнившись звуками, принесенными сюда со всех концов мира».

Написано просто и превосходно. Изложу, кстати, одно любопытное наблюдение. Прозаические описанья, по преимуществу, опираются на зрительный ряд. Это их, может быть, инстинктивное, свойство существенно сужает инструментальные возможности прозы. И лишь немногие мастера прибегают в своих описаньях к помощи остальных четырех чувств, что с почти математической точностью свидетельствует о степени их литературной квалификации... В приведенном отрывке ночь не только мигает огнями и волшебно звучит, она еще и мягка, как мягка поступь бредущего в темноте по пыльной дороге верблюжьего каравана.

Вот еще: «Сверху слабо доносилась барабанная дробь: там, на страшной высоте, по тонкому канату скользил с шестом в руках маленький человек, голый до пояса, в широких красных штанах, надуваемых ветром; он приседал и выгибался, подбрасывал и ловил свой шест, исхитряясь при этом еще бить одной рукой в маленький барабан, подвешенный спереди к его поясу; внизу гудела толпа, клубилась пыль, насыщенная запахами пота, навоза и сального чада харчевен, – а он один в небесном просторе был товарищем ветру, отдаленный от смерти лишь тонкой и зыбкой струной своего каната».

При желании читатель сам может вычленить, к скольким из пяти чувств адресован этот отрывок. А я скажу о другом. Четырнадцать лет тому, весной семьдесят шестого, я пробыл полдня в Бухаре, и так повезло, что в базарный день. Как раз выступали канатные плясуны, а мы смотрели на них, присев на краешек дощатого «каравота» (от русского «кровать»), пили из немытых пиал горький зеленый чай и слушали тонкое гуленье кеклика в традиционной прутяной клетке, гуленье, заглушаемое мощным ревом каких-то труб, неизвестных в европейской части СССР. Тогда-то, вспомнив «Повесть о Ходже Насреддине», я и подумал, что настоящая проза – не просто искусство словесной аранжировки, но и торжество адекватности.

Не случайно оба отрывка, взятые из разных концов большой книги, посвящены описанью базара. Базар у Соловьева – это символ бурлящей жизни, «моря житейского», мощного и победоносного, вечного и свободного, не зависящего от воли властителей и судей, но и безжалостного подчас к судьбе отдельного продавца или покупателя. Именно благодаря ощущению бытия, рожденному горьким жизненным опытом, и возможны пассажи, подобные тому, который я хочу сейчас привести, пассажи, облагораживающие общий настрой этой веселой книги, но и придающие ей скрытно-грустные ноты: «Хорошо на базаре продавцу, уверенному в добротности своего товара: ему нет нужды хитрить, и лебезить перед покупателем, и заговаривать зубы, подсовывая товар хорошим концом и пряча изъян за прилавок; вольготно и покупателю, чувствующему в поясе тяжесть туго набитого кошелька. Но что делать на шумном базаре жизни тому, у кого весь товар состоит из возвышенных чувств и неясных мечтаний, а в кошельке, вместо

золота и серебра, содержатся одни сомнения да глупые вопросы: где начало всех начал и конец всех концов, в чем смысл бытия, каково назначение зла на земле и как без него мы смогли бы распознать добро? Кому нужен такой товар и такие монеты здесь, где все заняты только торгом: прицениваются и покупают, рвут и хватают, продают и предают, обманывают и надувают, орут и вопят, толпятся и теснятся, и не прочь при случае задушить зазевавшегося! Такой человек ничего не продаст и не купит на этом базаре с прибылью для себя, – его место среди нищих и дервишей... »

Восток, восток... Для скольких аллегористов, начиная с Монтескье, ты был удобной цветной ширмой, заслоняющей скрытый и горький смысл от взглядов непосвященного! Как там у Кедрина?

У поэтов есть такой обычай –
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Мухаммед, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.
А другой плевал в него с порога
И кричал...

Современник Соловьева, Кедрин и пишет о том же самом. О нелюбви эпохи к людям духовного поиска. О невыносимой атмосфере писательских «чисток», где побеждают безграмотные, но напористые ортодоксы. Ходжа Насреддин, выдающий себя за багдадского звездочета, ведет «ученый» спор о влиянии звезд на судьбу человека:

«– Может быть, мой почтенный и мудрый собрат несравненно превосходит меня в какой-нибудь другой области познаний, но что касается звезд, то он обнаруживает

своими словами полное незнакомство с учением мудрейшего из всех мудрых Ибн-Баджжа, который утверждает, что Марс, имея дом в созвездии Овна и Скорпиона, возвышение – в созвездии Козерога, падение – в созвездии Рака и ущерб – в созвездии Весов, тем не менее всегда присущ только дню вторнику, на который и оказывает свое влияние, пагубное для носящих короны.

Отвечая, Ходжа Насреддин ничуть не опасался быть уличенным в невежестве, ибо отлично знал, что в таких спорах побеждает всегда тот, у кого лучше подвешен язык, а в этом с Ходжой Насреддином трудно было сравниться».

Да и о каком истинном знании можно говорить там, где тон задают «ученые улемы и мударрисы, давно позабывшие цвет весенней листвы, запах солнца и говор воды», которые «сочиняют с горящими мрачным пламенем глазами толстые книги во славу аллаха, доказывая необходимость уничтожения до седьмого колена всех, не исповедующих ислама» (сиречь, сталинского «марксизма»).

Шпионство, доносы, злобные каверзы и славословия, славословия без конца. Такова атмосфера существования этой, с позволения сказать, «творческой интеллигенции», мудрецов и поэтов. Назначен тут и специальный «день восхваления», в котором побеждает, как и следовало ожидать, сам эмир. Стихотворение, посвященное им самому себе, очень симптоматично, его стоит привести полностью:

Когда мы вышли вечером в сад,
То луна, устыдившись ничтожества своего,
спряталась в тучи,
И птицы все замолкли, и ветер затих,
А мы стояли – великий, славный, непобедимый,
подобный солнцу и могучий.

Вспомните слова сталинского гимна. Оппозиция между живою жизнью и мертвящей силой деспотии, заключенная в стихах Соловьева, есть центральная оппозиция всей книги, проводимая с большой и смелой настойчивостью. Для примера достаточно привести отрывок из второй части: «И всюду, где они проходили, затихал веселый базарный шум, пустели чайханы и умолкали птицы, испуганные барабаном; жизнь останавливалась, замирала под стеклянным напряженным взглядом вельможи, – оставались только его фирманы с угрозами и запретами».

Итак, не будет большим преувеличением сказать, что «Повесть о Ходже Насреддине» – книга сатирическая, причем острие этой сатиры направлено не против какого-нибудь, неизвестного ни автору, ни читателям надуманного «горчичного рая», а, как и во всяком подлинно сатирическом произведении, против угрюмых несовершенств современного ему общества.

Именно благородная смелость автора этой книги, не побоявшегося, что искушенные современники его поймут правильно, стала причиной тех испытаний, которые выпали на его долю после войны. «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года» Вольфганга Казака, переведенный на русский в 1988 году, коротко сообщает: «Внимание привлекла к себе книга С. «Возмутитель спокойствия» (1940)... Во время Второй мировой войны С. был корреспондентом на флоте. Его повесть «Иван Никулин – русский матрос» (1943) выдержала множество переизданий. В 1946–54 С. находился в заключении или ссылке».

Так в заключении или в ссылке? Дотошный западный библиограф не смог этого установить. Как все-таки туман-

ны в двадцатом веке судьбы русских писателей (и не только их, разумеется)! Елена Соловьева, сестра сочинителя, пишет: «Леонид любил веселого бродягу и «возмутителя спокойствия» Ходжу Насреддина. И тот, как верный друг, не оставлял его в несчастье. В тяжкие годы заключения работа над «Очарованным принцем» была для Леонида радостью и поддержкой».

Значит, писатель провел около девяти лет в заключении? Откуда тогда возможность работать? Или в ссылке? Но сестра его выражается довольно определенно... Во всяком случае, вторая книга «Повести о Ходже Насреддине» вышла в свет через 16 лет после первой. И недаром одна из центральных сцен «Очарованного принца» – сцена допроса. Ведь, увы, не всякий из окружающих «заслуживал доверия – не в пример иным беспорочным, что навязываются людям в друзья, а потом из низменной трусости предают первому, кто догадается прикрикнуть построже».

Еще в старой статье в «Дружбе народов» (№ 1, 1958) наблюдательный критик Л. Анненский сравнивает сцены ареста Ходжи в первой и во второй частях книги. И делает вывод, что писатель с годами несколько упал духом. Памятуя о том, что спорить с давними статьями не вполне корректно, ибо множество мыслей и чувств утекло за более чем тридцать лет, я все же берусь предоставить иную трактовку двух эпизодов, не в плане полемики, но в поисках за утраченной истиной.

В первом эпизоде Ходжа Насреддин сам предает себя в руки палачей, «спасая друзей из народа». Он чужд сомнений, он чужд рефлексии, напоминая многих «борцов за свободу» из серии «книга за книгой», отечественных и переводных, таких, как, скажем, «Овод» Войнич, «Спар-

так» Джованьоли или «Уленшпигель» Костера. Всем этим героям, при законном, все-таки, пафосе, свойственна некоторая ходульность, некая абстрактность, обусловленная, в частности, как и в случае с «Ходжой Насреддином», определенной «чужедальностью», экзотичностью обстоятельств. Никому из юных читателей не могло прийти в голову, что подобный героизм может быть применим и к «нашей солнечной стране».

«Ходжа Насреддин сказал твердым, звонким голосом:

– Самый главный укрыватель – это ты, эмир!

Резким движением он сбросил свою чалму, сорвал фальшивую бороду.

Толпа ахнула, замерла. Эмир, выпучив глаза, беззвучно шевелил губами. Придворные окаменели.

Тишина продолжалась недолго.

– Ходжа Насреддин! Ходжа Насреддин! – закричали в толпе.

– Ходжа Насреддин! – зашептались придворные.

– Ходжа Насреддин! – воскликнул Асланбек.

Наконец опомнился и сам повелитель. Губы его невнятно вымолвили:

– Ходжа Насреддин!

...Ходжу Насреддина повели во дворец. Многие в толпе плакали, кричали ему вслед:

– Прощай, Ходжа Насреддин! Прощай, наш любимый, благородный Ходжа Насреддин, ты будешь всегда бессмертен в наших сердцах!

Он шел с высоко поднятой головой, на лице его было бесстрашие. Перед воротами он обернулся, махнул на прощанье рукой. Толпа ответила ему мощным рокотом».

Трогает. Ничего не скажешь. Но все это относится к народным анекдотам о Молле Насреддине, как жутко «огероиченные» и «революционизированные» герои сталинского кинофильма «Остров сокровищ» (вспомните:

Если ранило друга,
Перевяжет подруга
Горячие раны его...
Если ранило друга,
Сумеет подруга
Врагам отомстить за него!)

по отношению к прелестному нравоучительному роману шотландского барда.

Совершенно другая трактовка того необыденного явления, которое зовется «арест», во второй части «Повести». Иного и быть не могло, потому что пишет уже «знающий», «переживший», «посвященный». Всю малость и беззащитность отдельной личности перед железной мощью неправедной власти переживает читатель вместе с негодующим и сокрушающимся автором: «Тщетно кричал и вопил купец, – стражники не остановились, не убавили своей воузилищной рыси. Ходжа Насреддин сразу сделался в их руках маленьким, жалким и обрел вид преступной виновности, как, впрочем, любой, которого тащат в тюрьму...»

Итак, «плутовской роман». В жанровом отношении книга выдержана чрезвычайно искусно и точно. И в этом – одно из главных ее достоинств. Уже, наверное, сто лет повторяются настойчивые попытки ревизовать структурную основу искусства, изобрести «новые» жанры. Так оно

и идет, от бесплодного какого-нибудь «ничевочества» до современного механического «концептуализма». Такие попытки в чем-то плодотворны, так как расширяют вариативные возможности литературы, но, когда своей целью ставят отмену (или замену) жанровой иерархии, они абсолютно бесплодны. Ибо в самой структуре того или иного произведения, структуре, задаваемой жанром, кодируется коллективный человеческий опыт. Жанр, как и миф, в ядре своем вечен и универсален, потому что несет свои свойства из глубин человеческого существования. Человек проживает – одновременно, но в различных аспектах своего экзистанса – повесть, поэму, басню, сонет. Недаром говорят: «у него роман». Или: «с нею случилась такая драма». Эта обратная адресация лишний раз свидетельствует об универсальности жизненных коллизий, воплощенных в жанровом каркасе того или иного произведения искусства.

Высказанное мною, конечно, не отменяет свободы маневра. Можно менять, перекраивать жанровую структуру. Но в определенных пределах. Любое, самое размодернистическое произведение помнит о том, что оно развивает, с чем борется. Скажем, «Улисс» Джойса, «Петербург» Белого, «В поисках за утраченным временем» Пруста, при всех тогдашних новациях, прежде всего – романы. И новеллы Борхеса – это новеллы, а не занудные погремушки, полные структурологической трескотни. И как бы ни подшучивал он над избранным жанром, как бы ни старался разложить его изнутри, он не нарушал заветной черты. Так как прекрасно понимал, что иначе его писания лишатся ценнейшего свойства – своей формы, превратятся в аморфную массу – красивый, но необделанный минерал;

кусок малахита, но не шкатулку из него. Одним словом, писатель привязан к колышку жанра, как коза на веревке. Свобода его известным кругом очерчена. Желающий большего может переквалифицироваться в управдомы.

Памятуя об этом, автора, понимающего, в каком жанре он трудится, можно назвать, в хорошем смысле этого слова, профессионалом. И Леонид Соловьев был таким профессионалом в высокой степени. Недаром же книга его, помимо прочих достоинств, попросту увлекательна.

Хочется еще раз отметить этическую заостренность произведения, В уста своего героя автор не боится вложить и прямые нравственные сентенции, к примеру: «Разве достойно человека и мусульманина пройти мимо тонущего, не протянув ему руку помощи! » или: «Недостойно мусульманина проявлять щедрость за чужой счет».

И так далее, и тому подобное. Главное же, конечно, не в речах, но, как и в жизни, в делах, описываемых автором; в поступках героя, несущих глубокий нравственный смысл, исполненных большой любви к человеку.

Тут хочется высказать одну серьезную мысль. С тех пор, как возрожденческий гуманизм секуляризировал нравственность, лишил ее религиозной подоплеки, она для многих потеряла свой абсолютный характер. Что я хочу этим сказать? То, что, в противоположность гуманистическому, религиозное сознание желает добра человеку в силу того, что он – подобие Божие, и носит в душе своей частицу универсальной субстанции. Любить человека не ради него самого, но ради Высшего в нем. В подобной любви – суть религиозного исповедания. Нравственность, исходящая из такой предпосылки, обладает цельностью и полнотой, не отрекается от онтологических корней бытия.

Не всякий обладает чутьем и жаждой к онтологическому. Но Соловьев, уникальный среди беллетристов сороковых и пятидесятых, таким чутьем обладал. И герой выбран им не случайно. Недаром Наср-эд-Дин исламских легенд, по словам одного современного индийского проповедника, сравним с Израэлем Бештом, мастерами умного учения Чань. К примеру добавлю, что растрепанная гадательная китайская книга, поминаемая в романе – конечно же – книга «И-цзин», «Книга перемен», известная в годы написания второй части «Ходжи Насреддина» лишь узкому кругу посвященных.

Не только чутье, но и вкус к онтологическому обнаруживает Соловьев, с явным удовольствием цитируя великого суфия Джами, вложив его слова, как пароль, в уста Ходжи Насреддина. Причем приводит их в подлинной транскрипции, что их как-то особенно выделяет:

Ваз он ру ки пайдову пихон туйи
Ба хар чуфтад чашми дил он туйи!

Этими словами он (Ходжа Насреддин – *Е.З.*) закончил свое колдовство, мысленно встав на колени перед великим Джами – что осмелился соприкоснуть его знаменитый божественный бейт с мерзостным слухом шпионов, достойных слышать только вой шакалов да визгливый хохот гиен».

У кого же нормально поставлен слуховой аппарат, пусть послушает:

И всюду явный – ты, и всюду тайный – ты,
И куда б ни упал мой взор – это все ты!

Более отточенной пантеистической формулы я не встречал.

Отнюдь не следует думать, что религиозная нравственность была присуща Соловьеву бессознательно, как-то стихийно. Она была связана с его концепцией судьбы настоящего писателя как некоей миссии; пусть в иных обстоятельствах и нелегкого, но неизбежного нравственного императива, который понимается им как «имя», доброе имя. Пусть он будет одинок и не понят, при внешней известности, он все же обязан держаться истины.

«Так печально закончилось его единоборство со своим собственным именем – пример, поучительный для многих. Здесь уместно вспомнить слова веселого бродяги и пьяницы Хафиза, избитого толпой на ширазском базаре за насмешливый отзыв о несравненных газелях поэта Хафиза: «О мое славное имя, – раньше ты принадлежало мне, теперь я принадлежу тебе; в былое время я радовался, что ты бежишь впереди меня на многие дни пути, а ныне желал бы привязать гири к твоим ногам; я – конь, а ты – мой жестокий всадник с тяжелой плетью в руке»».

Герой Соловьева легко принимает наивный фетишизм толпы. Лучше перестрадать ради своего имени, чем запятнать его криводушием, в этом случае надежда быть когда-нибудь понятым, явить миру пример не сякнущего ни при каких обстоятельствах духа, тебя не оставит. Недаром в стихотворении «Хафиз», посвященном персидскому поэту, которого Соловьев считал своим вторым «я», встречаются строки, адресованные героем стихотворения его автору (и нам с вами):

Но не жалобою гнусавой
Пусть мой голос летит к тебе,
Мой далекий и близкий самый,
Мой собрат по земной судьбе.

Потому что – соблазном каждым
Повергаемый в пыль и грязь –
Я, Хафиз, знал иную жажду,
об иных усладах молясь.

И когда молодой, двурогий
Месяц трогал мою чалму,
Я, Хафиз, слышал голос Бога,
Я, Хафиз, говорил ему...

Как этот духовный настрой отличается от моральной позиции прошлых и нынешних «именитых». Читателю небезынтересно будет узнать, что стихи эти датированы мартом 1953 года, то есть были написаны Соловьевым еще в узилище...

В заключение скажу вот о чем: конечно, книга Леонида Соловьева, при всех ее достоинствах, все же – лишь тонкая стилизация, что заведомо придает ей несколько вторичный характер. Будет справедливым упрекнуть автора и в некотором излишнем многословии, переходящем подчас в ненужное резонерство, а подчас – в раздражительное брюзжание, уместное в жизни, но не в поэзии. Впрочем, последний недостаток легко объясняется его отнюдь не легкой судьбой. На Востоке считают, что судьба зависит от свойств человеческого характера. Что ж, натура не позволила мастеру вписаться с веком заподлицо. Соловьев же как автор – обладал толком, честью и мужеством – свойствами, драгоценно-редкими среди писателей его времени; редкими и целебными, как колодец в песках.

# БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ И ЕЕ ПЛОДЫ

## О художественной прозе А. М. Коллонтай

Широк человек...
*Ф.М. Достоевский*

К девице Домонтович посватался молодой офицер. Родители были против – какой мезальянс! Как ей, дочке заслуженного генерала, крупного генштабиста, приближенного ко двору, выходить за голь перекатную, молодого попрыгунчика, способного похвастаться разве что отдаленным родством с ее весьма-таки влиятельной и знатной семьей?

Но девочка проявила упрямство: «Если я не получу вашего согласия на этот брак, – заявила она, – ну что же, я поступлю, как Елена из «Накануне» Тургенева».

Мать ее на это заметила; «От тебя всего можно ожидать».

И скрепя сердце, начала готовить солидное и добротное приданое. Никакой роскоши, вещи простые и ноские.

Наконец назначили день свадьбы. В тот день все с самого начала пошло кувырком. Во-первых, ее собачка неизвестной породы загубила любимую канарейку, выпущенную по комнате полетать. Та присела на канапе, запуталась в кружевах и сделалась жертвой злодейского посягательства. Мадемуазель Домонтович пришла в неописуемый ужас, когда обнаружила злодейство, и стала кричать так, как кричат во время большой катастрофы. Матушка прибежала в комнату взволнованная и напуганная.

– Боже мой, что случилось? Пожар, что ли?

(Ах, годы, годы, замечу я в скобках, как они меняют людей! На старости лет, вспоминая друзей своего раннего детства – хорошенького Ниниша с его длинными волосами в локонах, похожего на девочку, шалуна Петю с его нарядным голубым галстучком, игравших с нею под надзором английской бонны мисс Годжон, она бестрепетно пишет: «Среди царских офицеров, арестованных правительством /коего, кстати, она в то время была полноправным членом – *Е.З.*/ я увидела несколько когда-то знакомых мне имен: граф Ржевусский, генерал Шевелев и другие...»)

Вот и все. Точка. И дальше – ни-ни. Жаль птичку, конечно...

Но несчастья мадемуазель Домонтович, представительницы знатного рода, основанного князем Довмонтом, строителем псковского кремля, в день свадьбы на этом не кончились. Подвело ее пристрастье к конным прогулкам. День был холодный, зимний, и прекрасная амазонка на великолепном гнедом коне, прогуливаясь бок о бок с раскрасневшимся всадником, своим женихом, по заснеженным «островам», – подхватила простуду.

Правда, в церкви, стоя перед алтарем в белом атласном платье, как у королевы Маргариты Наваррской из оперы «Гугеноты», она не чихала, но зато, когда вернулись в теплую комнату из холодной церкви, насморк разыгрался всерьез. У нее поднялась температура, и намечавшееся свадебное путешествие пришлось отменить...

Впоследствии она с лихвой наверстала несостоявшееся путешествие, покинув через пять лет своего мужа, Владимира Коллонтая, и носясь по всем странам и континентам с пылкою революционною агитацией. На короткое время вернулась она на родину в 1917 году, чтобы стать

первым в истории министром женского пола (народным комиссаром государственного призрения), поноситься со своим вторым мужем, революционным матросом Павлом Дыбенко, по полям гражданской войны (безвинно пролитая кровь любимой канашечки давно уже стерлась из ее памяти) и быть посланной в Норвегию с дипломатической миссией в 1922 году. Владимир Ильич к тому времени уже несколько сдал, и в партии шла негласная, но жесткая борьба за власть. Вот интеллигентнейшую Александру Михайловну и отослали – чтоб не путалась под ногами.

Ее личная жизнь к тому времени тоже, что называется, «дала трещину». Красавец-матрос Павел Дыбенко, коего спасала она, неумеху, от изощреннейших партийных интриг, грозящих подчас и расстрелом, завел себе «пассию» в Москве. Мой отец когда-то видел этого человека на митинге. «Ярчайше надраенные сапоги, скандированная речь и остановившиеся глаза», – сообщил он в приватной беседе. Подобный персонаж должен был производить сокрушительное впечатление на женщин.

Так или иначе, Александра Михайловна любила его. Когда ее еще в начале их бурного романа спросили, как же она решилась полюбить человека, который на семнадцать лет ее моложе, она отвечала: «Мы молоды, пока нас любят!» Но вот, любовь – изменила. Стало быть, изменила и молодость?

В письме к небезызвестной Андреевой, еще одной партийной аристократке, она пишет из Христиании: «Если я Вам скажу кратко: тов. Дыбенко сейчас не один в России, с ним юное, очаровательное существо... Вы за этим кратеньким сообщением прочтете целую повесть, которая разворачивается за кулисами деятельно-ответственной

работы «на виду». Повесть до скуки повторную... Улыбнетесь и скажете: знакомо! А когда я прибавлю к этому: но вместе с тем т. Дыбенко ни за что не хочет меня терять, и мы очень близки, и я уже приняла девочку и даже забочусь о ней, Вы покачаете головой и скажете: банально до скуки! Верно или нет?»

Сколько скрытой горечи в этих словах. Сколько простой бабьей ревности! Против природы-то не попрешь, будь ты хоть трижды специалистом по женвопросу. В 1923 году Павел Ефимович с разрешения правительства (!) приезжал к Александре Михайловне в Норвегию. «Четче всего, – пишет об этом свидании Коллонтай, – неизгладимое впечатление от поездки в 23 году, когда навсегда распрощалась я с Павлом и ехала, отупевшая от боли, мертвая».

Да, как непохожи все эти простые и понятные даже беспартийному сердечные муки на те рассуждения и рекомендации, на тот странный, «марсианский» подход к любовному делу, который появляется в ее художественной и полемической прозе и который объясним только «наведенным» марксистско-эмансипаторским пафосом. Как и многое из того, что было сделано и написано в двадцатых годах, ее художественная проза была подвергнута остракизму позднейшими партийными ортодоксами и с 1927 года не переиздавалась.

Впрочем, реакция партийных ортодоксов – в чем-то здоровая. Я бы и сейчас не рискнул рекомендовать ее художественную прозу для прочтения молодой девушке. Все в ней так и дышит моральным соблазном, хотя чисто постельных сцен там немного.

«На местах» доходило и до курьеза (порой, отнюдь не невинного). Приведу выдержки из проекта «закона о со-

циализации женщин», напечатанного в газете «Свобода России» в апреле 1918 года, которая перепечатала их из «Известий» местного совета города Хвалынска.

... §5. После восемнадцатилетнего возраста всякая девица объявляется собственностью государства.

§6. Всякая девица, достигшая 18-ти и не вышедшая замуж, обязана под страхом строгого взыскания и наказания регистрироваться в бюро «Свободной любви» при комиссариате государственного призрения (Комиссар – А.М. Коллонтай. – *Е.З.*).

§7. Зарегистрированной в бюро «Свободной любви» предоставляется право выбора мужчины из числа граждан в возрасте от 19 до 50 лет себе в супруги-сожители.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) согласие мужчины на подобный выбор не обязательно; 2) жена мужчины, на которого падал выбор, никаких претензий заявлять на подобное посягательство права не имеет.

Ну, и пошла писать губерния... У читателя может возникнуть недоуменный вопрос: а зачем вообще автор этих заметок так подробно останавливается на курьезных и альковных подробностях?

Время, сударь мой, время и его неподдельный аромат, если можно так выразиться, – вот что важно почувствовать.

Кроме того, интересно ведь сообщить, что матери и отцы-основатели коммунистического режима в России были не чужды ничему человеческому, хоть и с несколько необычной стороны смотрели на некоторые вещи.

Важно и то, что именно психологическая травма, вынесенная Александрой Михайловной из отношений с

Дыбенко, попытка фрейдовской «сублимации» – стала скрытой пружиной всей художественной прозы Коллонтай, изданной, кстати сказать, в основном около 1923 года. То есть, именно в это время ее охватывает «писательский зуд», и в пластических, насколько получится, образах она хочет избыть свою душевную муку.

Впрочем, писательская карьера с ранних лет влекла Александру Михайловну. «Так как я мечтала стать писательницей, – вспоминает она в своих мемуарах, – то усиленно принялась изучать русскую литературу. Увлеклась и зачитывалась Писаревым и Добролюбовым. Я хотела стать не просто писательницей занимательных повестей, но писательницей «идейной»... Мария Ивановна Страхова посоветовала моей матери пригласить для дополнительных уроков известного преподавателя словесности и русской литературы Виктора Петровича Острогорского... Мама согласилась, и Виктор Петрович стал приезжать к нам на дом два раза в неделю, чтобы преподавать мне русскую словесность».

Круг ее литературных вкусов достаточно точно очерчен в этом отрывке. Подобного рода направление ума не замедлило сказаться на практике. И, уже будучи замужем за Коллонтаем, Александра Михайловна пишет повесть «с направлением», сильно напоминающую, судя по ее пересказу, дальнейшие писания этой «специалистки по женскому вопросу».

Как она вспоминает, эта ранняя повесть требовала полного равноправия между мужчиной и женщиной. В ней говорилось об уже немолодой девушке сорока лет, которая сама зарабатывала себе на жизнь, но существовала замкнуто, без любви и без увлечений. Полюбив наконец

человека моложе себя, она предложила ему вместе уехать за границу и жить как муж и жена, ничем себя не обязывая. Она боялась связать его и не была уверена в прочности его чувства к ней.

– Будем жить как товарищи и любовники, – говорила она, – а когда мы вернемся, мы оба будем независимы друг от друга.

«Тогда это звучало ново, смело и почти цинично», – комментирует Александра Михайловна.

Со временем повесть закончена, переписана и отослана для экспертной оценки известному писателю Короленко. Но проходит неделя за неделей, а от него – ни слуху, ни духу. Наконец пакет с повестью к ней возвратился. Она была отвергнута категорически. Короленко сообщал: «Если бы вы писали пропагандистские листовки, вы бы могли достигнуть большего. К беллетристике у вас меньше данных».

Это был тяжелый удар. С беллетристическими попытками надолго было покончено. Что же касается пропаганды...

Вскоре Александра Михайловна увлеклась входившим в моду в кругах радикальной интеллигенции новым социально-революционным учением, марксизмом. Это в куда большей степени, чем увлечение беллетристикой, определило судьбу нашей героини.

Увлечение было искренним. Но не все зависит от самого человека, многое зависит и от нравственного выбора, который он совершает.

Об опаснейших результатах неверного нравственного выбора очень хорошо сказал русский философ Семен Людвигович Франк в своей статье «Ересь утопизма».

Я позволю себе неоднократно процитировать эту статью, ибо в ней высказана наиболее близкая мне точка зрения, критикующая коммунизм и тоталитарную практику вообще не с точки зрения «гуманистической», которая небесспорна и уже навязла в зубах, а с точки зрения этики религиозной.

«Дело в том, – пишет С.Л. Франк, – что воля в основе своей благая – воля, руководимая не личной корыстью или похотью, а нравственным мотивом любви к людям, стремлением спасти их от страданий и неправды и утвердить праведный порядок жизни – может так же, сочетаясь с безмерностью и дерзновенным своеволием, оказаться волей безумной и в своем безумии выродиться в волю преступную и гибельную. Мы имеем в виду то устремление мысли и воли, которое можно назвать общим именем утопизм».

Далее Франк говорит о демоническом, сатаническом характере утопического взгляда на жизнь, к которому причисляет и коммунизм. Так или иначе, некий опасный заряд, содержащийся в молодой агитаторше, ощущали наиболее чуткие из ее современниц, о чем сообщает сама Коллонтай.

«Так бесконечна была ненависть ко мне со стороны буржуазных равноправок, – пишет она, – что когда пришлось по делу быть у известной деятельницы женского движения Анны Павловны Философовой (матери писателя Д. Философова), то после моего ухода она будто бы крестила углы комнаты, изгоняя мой «вредный» революционный дух».

Тут будет кстати вернуться к статье С.Л. Франка. Он пишет: «Можно и должно даровать женщинам «равноправие» с мужчинами, но совершенно невозможно отменить глубочайшее, космически предопределенное различие в

умственном и душевном складе, в жизненном «призвании» двух полов; и аналогичное соображение ставит роковой предел всем другим попыткам реального уравнения всех людей».

Похоже, что Александра Михайловна это различие отметает. Что и проявляется с полной отчетливостью в ее последующей деятельности, в том числе – и литературной. Кстати, пора уже вернуться к основному предмету нашего рассмотрения – художественной прозе женщины, которая давно переступила порог сорокалетия и за спиною которой осталась активная работа (с 1899 года) в социал-демократии: меньшевизм, с 1915 года – большевизм, девятилетняя, до самой революции, эмиграция, короткая работа в качестве Наркома государственного призрения, поля гражданской войны, бурная личная жизнь.

Остановка в пустыне. Тихая и благополучная Христиания, столица Норвегии. Напряженная дипломатическая работа. Разбитое сердце. А русские женщины ждут не дождутся дельного слова от компетентного товарища «на виду».

В том же 1923 году она печатает в журнале «Молодая гвардия» программную статью «Освободите крылатого Эроса». Красивый термин, не правда ли? Есть в нем что-то такое «классическое». Им она определяет в данной статье любовные отношения.

По ее мнению, Эрос бывает «бескрылый» (в смысле удовлетворения чисто животного полового влечения) и «крылатый», то есть сопровождающийся всем богатством любовных эмоций.

«Теперь, когда революция в России одержала верх и укрепилась, – пишет она, – когда атмосфера революци-

онной схватки перестала поглощать человека целиком и без остатка, нежно-крылатый Эрос, загнанный временно в терновник пренебрежения, снова начинает предъявлять свои права».

Какой слог, – замечу я в скобках. Прямо декадентство какое-то!

«Он хмурится, – продолжает она, – на осмелевший бескрылый Эрос – инстинкт воспроизводства, не прикрашенный чарами любви. Бескрылый Эрос перестает удовлетворять душевным запросам. Скапливается избыточная душевная энергия, которую современные люди, даже представители трудового класса, еще не умеют приложить к духовной и душевной жизни коллектива. Эта избыточная энергия души ищет приложения в любовных переживаниях. *Многострунная* (курсив мой – *Е.З.*) лира пестрокрылого божка любви покрывает однострунный голос бескрылого Эроса...

Женщина и мужчина сейчас не только сходятся, не только завязывают скоропреходящую связь для утоления полового инстинкта, как это чаще всего было в годы революции, но и начинают снова переживать все муки любви, всю окрыленность счастья взаимного влюбления».

Я не случайно выделил определение Эроса еще и как «многострунного». Для пожившей Александры Михайловны в любовном чувстве важна не только окрыленность, но и вариантность, разнонаправленность. Что она и подчеркивает в дальнейшем.

«Исключительность в любви, – пишет она, – как и «всепоглощение» любовью, – не могут быть идеалом любви, определяющим отношения между полами с точки зрения пролетарской идеологии. Наоборот, пролетариат, учиты-

вая *многогранность и многосторонность* (курсив мой – *Е.З.*) «крылатого Эроса», не приходит от этого открытия в неописуемый ужас и моральное негодование, наподобие лицемерной морали буржуазии».

Не знаю, как революционный пролетариат, но эта высокообразованная и много повидавшая женщина, по сути, думает следующим образом: а любитесь-ка братцы, с кем хотите и любым способом! Ведь нынче – свобода!

Слова, обращенные к советскому юношеству, дабы его просветить и направить, являются для нее отнюдь не случайными. Она тотчас же подтверждает их в своей художественной практике. Так, в рассказе «Любовь трех поколений» описывается самый что ни на есть адюльтер, да еще и с привкусом кровосмесительным, ибо «сходится» с мужем героини, которая является ответственным партийным работником, ее дочь от другого брака.

Воспитанная, как видно, в теориях, подобных вышеизложенным, она, когда дело открывается, относится к нему просто: «Ущерба от этого никому нет... Разве что из-за аборта придется недельки две-три работу прервать...» (Интересно, как бы прокомментировали эти слова несчастные советские женщины, которых чуть не на следующий день после аборта «выписывают» на работу – шпалы таскать?).

«Единственное, чего я всегда боюсь, – продолжает она, – это – венерической болезни».

Деловой подход, не так ли? Вот вам и «многострунность» на практике. «Ну да, эти месяцы у меня были сношения с еще одним товарищем», – продолжает она откровенничать с уязвленной матерью. А та не знает, что и ответить. Строго говоря, все ведь в подходе ее до-

чери к амурным забавам – строго функционально! Чего же еще-то? Все-таки, матушка отправляет свою дочь посоветоваться к более крупной, чем сама, специалистке по женоведению, от лица которой и ведется рассказ. И перед той дочурка отнюдь не пасует, а вовсю щеголяет своей «многострунностью».

«Да и сейчас есть люди, которых я люблю – и как люблю... Не только маму... И других. Вот, например, – Ленин. Вы не улыбайтесь. Это очень серьезно. Я его люблю гораздо больше всех тех, кто мне нравился, с кем я сходилась... Потом тов. Герасима, вы его знаете? Секретарь нашего района».

Ух-ты, – подумаем мы, – девочка-то зарапортовалась. В таком-то контексте, и поминает самого Ильича! Перебор! Явный перебор!

Вы так думаете? Ну что ж, адресуем вас к повести А.М. Коллонтай «Большая любовь». Ее сюжетная пружина, как и во всех художественных писаниях Александры Михайловны, одна – адюльтер. Среда – все та же, привычная, представители партийной элиты. Кстати сказать, подобно тому, как романы Льва Николаевича Толстого можно в известном смысле назвать великосветскими, ибо главные герои, как правило, люди «из общества», рассказы и повести Коллонтай также можно отнести к этому жанру, ибо действуют в них в качестве главных героев – новые «хозяева жизни» – красные директора, партийные работники «на виду»; «пролетарская масса» – лишь фон.

Повесть «Большая любовь» отличается тем, что дело-то происходит, судя по всему, еще до победы – в подполье. Но отношения и ситуации – весьма, тем не менее, характерны. О «пролетариях», ради которых так стараются под-

польщики, – там сказано между прочим. Зато главные герои – крупный партийный теоретик, неказистый собой, но исполненный внутреннего величия – некий Семен Семенович, и – подпольщица, но не простая, а творчески мыслящая, пишущая статьи для партийной печати – Наташа.

Семен Семенович уезжает из дому, от ревнивой жены, в другой город – по партийным делам. И тут же вызывает к себе Наташу – между ними вроде бы намечался разрыв, но он это дело игнорирует – знает же, что прибежит, как собачка. И она срывается с места, летит к нему, ласкает его многодумную голову, стоя перед ним на коленях в гостиничном номере. Семен Семенович доволен. Впрочем, нельзя же забывать о работе. Собирается заседание, в котором участвуют не только друзья, но и соперники, фракционеры! Наташа – за секретаря.

«После пережитых деловых волнений, после трех бессонных ночей Наташа небрежно несла свои секретарские обязанности...

Под конец решили прочесть протокол заседания. Оказалось, Наташа напутала – не точно передала слова противника. Оппозиция зашумела. Сочли за подвох противной стороны.

Наташа растерялась.

А он, Сеня, ее Сеня, вдруг ощетинился и резко напал на нее. Пусть видит собрание, что это личный «подвох» Наташи, что их направление с ней тут не солидарно... »

Вот тебе и Сенечка... Интриган. Не понимает он ее мятущейся души, ему б кой-чего получить и уснуть – иначе на утро трудно ему предаваться умственной деятельности. Наташа обиделась. Она закинула голову тем гордым жестом, за который ее дразнили, называли «ваше сиятель-

ство». Гордая девушка. Видно, никак не может перебороть своей спеси дворянской. Уж не из Рюриковичей ли она происходит, или, ну, там, Домонтовичей?

Ночью она не выдерживает и приходит в номер к любимому. Он не доволен. Зачем? «Просто хотела поговорить с тобой, приласкаться».

Семен Семенович ее отбривает, причем с такою характерною, всем нам знакомою интонацией, что стоит лишь только придать ему некоторую приятную картавость произношения, как тотчас же, к своему удивлению, идентифицируешь прототипа. Конечно же, не на все сто процентов, но все же...

«Да уж чего там «просто», «просто»... Удивительный вы народ, женщины. Непременно подавай вам оправдание. Все мы вас в соблазн вводим. Сама пришла, разбудила, а теперь вишь ты, недотрога какая».

Для понимания беллетристики Александры Михайловны стоит задержать внимание и на повести «Василиса Малыгина». В ней рассказывается о миниатюрной, худенькой коммунистке, которую, правда, пролетарии, из каких она сама родом, однажды «разобидели, нагрубили, попрекнули пайком ответственного работника».

Но она объясняет подобные выходки их несознательностью и свое дело делает. Главная ее цель – соорудить дом-коммуну. Чтобы и дух в нем был «коммунистический», не просто «общежитие», где все сами по себе, все врозь.

«Сколько мытарств выдержала. Два раза дом отнимали. С кем только ни тягалась Василиса!.. Отстояла. Наладила. Общая кухня. Прачечная. Ясли. Столовая – гордость Василисы: занавесы на окнах, герань в горшках. Библиотека, вроде комнаты клуба».

На первых порах все шло хорошо в ее бедноватеньком (времена-то тяжелые) фаланстере.

А потом – пошло... Насчет распорядков спорить стали. Чистоту соблюдать не приучишь... В кухне – ссоры из-за кастрюлек. Прачешную затопили водой – еле откачали. Как неудача, ссора, беспорядок – сейчас на Василису недовольство. Будто она здесь «хозяйка», будто «не доглядела».

Заметим в скобках, что ситуация – до боли знакомая и вполне естественная. Если квартира, избушка, землянка – моя, так я за нее и отвечаю. А не моя – так пусть отвечает за нее «комендант», хотя бы и Генеральный. Так страну и профукали. Недаром премудрый Иван Бабичев из Олешиной «Зависти» митинговал: «Товарищи! От вас хотят отнять ваше главное достояние: ваш домашний очаг... Что говорил он (младший брат Ивана – Андрей, крупный коммунист – *Е.З.*)?.. Что хочет вытолкнуть он из сердца вашего? Родной дом – милый дом! Бродягами по диким полям истории он хочет вас сделать. Жены, он плюет в суп ваш... Он врывается в закоулки ваши, шмыгает, как крыса, по полкам, залазит под кровати, под сорочки, в волосы подмышек ваших. Гоните его к черту!.. Вот подушка... Скажите ему: мы хотим спать каждый на своей подушке. Не трогай подушек наших!.. Не зови нас! Не мани нас, не соблазняй нас. Что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?.. Вот подушка. Герб наш. Знамя наше. Вот подушка. Пули застревают в подушке. Подушкой задушим мы тебя...»

Не очень-то получилось у Василисы Малыгиной с «домом-коммуной». Одолело ее раздражение. А издалека,

из неназванной южной губернии к ней идут зовущие письма от мужа любимого, давно не целованного. Работает он на каком-то современного, нэповского типа предприятии «красным директором». И зовет ее, любушку, к себе.

Вся повесть написана в стиле «сказа», столь модном в двадцатые годы. Стилизация под «простую», народную речь. Но есть в русской литературе формы и стили, языком, как правило, отторгаемые. Так, почти любой русский верлибр смахивает на посредственные стихи Луначарского, выбитые в граните памятника на Марсовом поле в Петербурге. А «сказ» удавался настолько, что его читаешь без иронической улыбки, только Бажову да Шергину, близким к самой сердцевине народного языка. Остальные же мастера авторучки, вплоть до таких серьезных, как Пильняк и Замятин, в «сказе» фальшивили, на мой взгляд. Что уж тут говорить об Александре Михайловне, воспитанной на шестидесятнических образцах и с трудом осваивающей новомодную литературную форму?

Василиса Малыгина, «Васька», как любовно называли ее окружающие, едет к мужу. Смотрит в окно. «О чем тоска?.. Может, о том, что, вот, ушла полоса жизни, вместе с домом-коммуной, ушла в прошлое, невозвратное, вот как уходят эти полосы полей, что *весенней нежной янтарью* (курсив мой – *Е.З.*) подернуты... »

Вот те и сказ. Ни о чем, кроме страшной далекости от народного языка, а тем самым и от носителя оного, подобный «сказ» не свидетельствует.

Однако читается повесть все равно с интересом. Описывается та любопытная во всех отношениях эпоха, когда, согласно статье Коллонтай из «Молодой гвардии», «с удивлением замечаешь в руках ответственных работни-

ков, которые в прошлые годы читали только передовицы «Правды», протоколы и отчеты, – книжечки беллетристического свойства, где воспевается крылатый Эрос».

Муженек не отстал от веяний времени. Постепенно выясняется, что водит он компанию с подозрительными делягами, зарабатывает по-крупному и на лишние денежки содержит на стороне мещанку-любовницу, правда, не «плоскогрудую», как сама Василиса, а приятную во всех отношениях. Обнаруживается тот социально-бытовой конфликт, который столь точно обрисован в рассказе Алексея Толстого «Гадюка».

Все дело кончается тем, что бедная Василиса, и впрямь вызывающая читательскую симпатию, не солоно хлебавши уезжает обратно. Прошло уже несколько месяцев, и на месте «дома-коммуны» она обретает руины. Не в буквальном, разумеется, смысле, а в смысле полного краха ее утопического замысла:

«Обернулась. Глянь, по коридору Груша спешит, чайник с кипятком тащит.

– Груша!

– Василиса! Родненькая. Когда-то приехала? Вот не ждала-то. Поставила Груша чайник на пол. Обнялись.

– Милости прошу ко мне... Твоя светелка. Твоей добротой в ней и проживаю...

Оглянулась. Будто знакомая светелка. Но уже не Васина. Ножная «швейка», манекен в углу... Куски материи. На полу отрезы, обрывки ниток... Стены пустые. Нет на них Маркса, Ленина, группы «коммунаров», когда годовщину праздновали... Вместо них висит полинялый бумажный веер, а рядом засиженная мухами открытка с яйцом и золотой надписью: Христос Воскресе... В уголке образ».

Да-с, – прибавим мы от себя. – Ванюша-то Бабичев – дело говорил. Трудом, личным бытом и остаточной верою в Бога упасся русский народ. И не только сам спасся, но и – нес вседавительную советскую власть на своих плечах, инерцией христианской нравственности воевал и трудился. И наконец сбросил с плеч своих давящий груз. Жаль только, что произошло это в ту пору, когда традиция христианской нравственности, обеспечивавшая корректность и неподдельность научного эксперимента, прочность сработанной небессовестными руками избы, – стала в народе иссякать. Да и как же иначе – десятки лет приучали его к язычеству, не имеющему даже своего пантеона, вернее – пантеон суррогатный. Нам, людям сегодняшнего дня, эту кашу – расхлебывать...

Кстати, быть может, припомнить слова философа Франка: «Не только утопизм никогда не достигал на практике поставленной им цели, т.е. ему не удавалось осуществить порядок, обеспечивающий нравственное совершенство жизни, но на пути своего осуществления он приводил к результатам прямо противоположным: вместо искомого царства добра и правды он вел к господству неправды, насилия и злодейства; вместо желанного избавления человеческой жизни от страданий он приводил к безмерному их умножению».

Что уж там птичка, что уж там царские генералы, вот уж и друга ее сердечного, Павла Дыбенко, списали, и почти всех соратников по борьбе. Одна осталась Александра Михайловна, живет на чужбине, хоть и в почетном, ответственном званье посла. А звание это – разве ее защитит? Разве мало отозвано в Московию послов и без всяких – поставлено к стенке? За то ли боролись? В поздних писаниях ее об этом – ни-ни.

В каждой человеческой жизни содержится тайна. Есть тайна и в судьбе Коллонтай. Почему почти все из ее соратников полегли, а она – уцелела? Невозможно ответить на этот вопрос. Так только, косвенно кое-что подмечаешь... То, например, что она в воспоминаниях своей юности, написанных уже в зрелые годы, страха ради именует своего жениха-офицера Володю, впоследствии – царского генерала (1867 – 1917), ну, мирно так – инженером... Хоть и вправду он был инженером – военным.

Конечно, подобные меры предосторожности никого из казненных Сталиным не упасли, но упрекать ее в незнании советских приличий, «правил игры» – тоже, вроде бы, не приходится...

Да, широк человек... И образования – европейского, и деловыми талантами блещет, и даже некоторыми способностями к литературе (вспомните чайник, поставленный на пол – неплохая деталь)... А итог, подводимый прожитой жизнью, – очень неоднозначен. Конечно, она много сделала. Уйму книг написала – не только художественных; была министром, и весьма эффективно работающим дипломатом в ранге посла.

Но в книжках ее – немалый соблазн для читательской нравственности, а в работе – соучастие в действиях бесчеловечной системы. Принадлежность к высшему партийному кругу, в котором формировалась государственная политика, заставляет ее полностью разделить ответственность и за его достижения, и за его преступления, которые, на мой взгляд, перевешивают.

Вот и подводи итог после этого. Пожалуй, добавить тут нечего. Разве что привести слова одного из героев Ф.М.Достоевского: «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил».

# БЛЕСК И НИЩЕТА ИМПЕРИАЛИЗМА

## Заметки к роману К. Н. Леонтьева «Одиссей Полихрониадес»

Великолепный, пластически завершенный и выразительный слог беллетристических произведений Константина Николаевича Леонтьева еще не удостоился анализа и оценки, соответствующих его уникальному качеству. Интерес к художественному творчеству Леонтьева – всегда сдержанный.

Дело, я думаю, в следующем: обладая выразительным и точным пером, способным красочно очертить любые оттенки в состоянии природы и человека, Леонтьев проигрывает в драматургии своей художественной прозы, в структурообразующей мысли.

Используя кинематографический термин, «монтаж» столь прославивших русскую литературу произведений, как «Война и мир» или «Братья Карамазовы», – вызывает в читателе предощущение катарсиса, а затем и приводит к нему.

Роман «Одиссей Полихрониадес», при всех перлах мысли и богатстве экзотического и пряного, сильно поданного материала, всего лишь роман «производственный», так сказать, – с неизбежными для этого жанра длиннотами на специальную тему, излишними техническими подробностями, деталями, интересными лишь специалисту.

«Производство», правда, весьма неординарное – работа русского консула в далеком Эпире, нынешней Албании – одной из провинций тогдашней Оттоманской империи. Дело происходит в начале шестидесятых годов девятнад-

цатого века.

Один из главных героев романа – консул в Янине господин Благов (слепок с самого Константина Николаевича), который предстает перед нами как энергичный проводник русской политики на Балканах. Эстетик и сибарит, он любит и ценит красоту турецкого быта и держится высокого мнения о национальном характере турок, но, как ревностный агент российского правительства, решительно и ловко внедряет русское влияние на Балканах, пользуясь своей популярностью среди греческого и славянского населения Эпира.

В обрисовке этого весьма привлекательного, но отнюдь не однозначного характера чувствуется влияние литературной традиции. Тут и интерес к социальному типу «комильфо», не чуждый Толстому и другим современникам Леонтьева, и увлеченность персонажами более ранней эпохи, вроде Печорина.

Главный герой повести – юный грек Одиссей Полихрониадес (Многовременный), имя которого дано по аналогии и в перекличку с главным Одиссеем словесности – Одиссеем Полиметиусом (Многомудрым) гомеровской эпопеи. Мы не поддадимся соблазну подводить параллелизм к модному впоследствии мифологизированию прозы, не станем беспутно сравнивать этот протяженный роман с не менее протяженным «Улиссом» Джойса или «Кентавром» Апдайка – отметим лишь, что некий интерес к мифу как структурной основе романа, в культуре уже просыпался.

Интересней сравнить: чем берет популярный (отнюдь не скажу – совершенный) роман, написанный также во второй половине XIX века, по сравнению с полузабытым?

Припомним, что в романе Александра Дюма «Граф

Монте-Кристо» есть сюжетная линия, посвященная янинскому паше – Али-Тебелину, истории его восстания на стороне гетеристов, трагической гибели, судьбе его любимой жены – христианки Василики и ее детей.

Константин Леонтьев знает об этой истории не из газет. Сведения о жестоком, самовластном и мужественном паше, сообщенные очевидцами происшедших событий, получил он из первых рук. И передает их в романе с присущим ему талантом, чуть-чуть, может быть, излишне воодушевляясь, когда речь заходит о неординарных, архивосточных эротических причудах паши. В то же время сама достоверность и точность, некоторая этнографичность повествования, при всей его познавательной ценности, как-то тушуется по сравнению с дилетантским напором Александра Дюма, с легкостью строящего из этой истории романтическую и прекрасную сказку, в политическом, нравоописательном и фактическом смысле недостоверную (судя по тексту Леонтьева, Тебелина предала как раз его облагороженная в романе Дюма жена Василики, а не выдуманный злодей Альбер де Морсер), но соответствующую, я бы сказал, архетипическому ожиданию читателя.

И возвышенная, идеальная и покорная рабыня графа Монте-Кристо, прекрасная Гайде, дочь Тебелина, оборачивается у Леонтьева смекалистой, склочной и одновременно заботливой хромоножкой Гайдушей, служанкой доктора Коэвино, одного из заметных горожан.

Не берусь судить, который из методов подачи материала предпочтительнее. Замечу лишь в скобках, что сюжетостроительное чутье у Дюма и его сотрудников было поэффективнее хотя бы с точки зрения успеха у многочис-

ленных читателей (в том числе и российских).

Патриотично настроенные сограждане могут задать вопрос: а стоит ли вообще сравнивать одного из оригинальнейших национальных мыслителей с коллективом каких-то французских литературных рыночников, известных под собирательным именем Александра Дюма? Думаю, что имею право на то, чего не избегал и сам Константин Николаевич Леонтьев, переписывая по-французски целые свои романы и посылая их Просперу Мериме для отзыва. Кого-кого, а Леонтьева отнюдь не упрекнешь в узколобости.

Итак, герой повествования – юный эпирский грек. В своих воспоминаниях, озаглавленных «Моя литературная судьба», Константин Николаевич пишет: «Героя выбрал я неудобного: красивого и умного юношу, Загорского купеческого сына, но боязливого, осторожного, часто хитрого, в одно и то же время и расчетливого, и поэта, как многие греки. Все изображается тут не русское; надо большими усилиями и мыслями переноситься в душу такого юноши, ставить себя беспрестанно на его место, на котором я никогда не был». Хочется заметить, что в оценке своего детища Леонтьев не ошибается. Ведущееся от первого лица повествование предлагает нам тип и достаточно достоверный, и действительно отличающийся от привычных для нас по своей психологии. Особенно это проявляется в некоем «правильном» красноречии его внутреннего монолога – красноречии очень эллинском.

Жанрово эту историю возмужания юного «грека-райя», то есть грека, имеющего османское подданство, можно было бы обозначить как «роман воспитания», не-

сколько перегруженный дотошностью и обстоятельной медлительностью автора. Лишь где-то к концу романа мы узнаем, что со дня прибытия Одиссея в Янину, с которого начинаются события, описанные в романе, прошло всего лишь три месяца. И не случайно, мне кажется, роман остался незаконченным: исчерпал себя сам интереснейший, конечно, но достаточно ограниченный материал – жизнь далекой оттоманской провинции с ее самобытными чертами, с ее архаичностью и новыми веяниями.

Разноплеменное население Янины и окрестностей описано ярко, выпукло, без этнических предрассудков. Злые и добрые турки, чиновники и обыватели, куцо-влахи (нынешние румыны), арнауты (албанцы), болгары, цыгане и, конечно, излюбленные Леонтьевым эллины-единоверцы различных сословий, к которым принадлежит и главный герой повествования.

А как хороши описания! Как они лаконичны, просты и исполнены жизни! «Вообще я был покоен духом, и даже мираж моего приятно-полезного, уныло-доходного чифтлика, внезапно явившийся на дальнем небосклоне моей карьеры... оставил меня не в месте пустынном, непроходном и безводном, а в милой комнатке моей с дальним видом на черепичные кровли и сады и на тонкие минареты горы, величаво увенчанные по утрам густым, синим туманом, среди которого то появлялись, то медленно таяли другие светлые облака.

Астры и розы моего дивана были все так же многоцветны и крупны; стол письменный – все так же просторен; окошко светло; обед обилен и вкусен. Кавассы и Кольо любили меня. Алеко-сиротка каждое утро радушно приносил мне еще пылающий слегка мангал, чтобы мне

было теплее вставать (так как февральские дни у нас иногда еще очень свежи)... Он даже клал нередко в уголья мангала лимонную корку, чтоб лучше пахло...»

Каким тонким и выразительным ощущением жизни отмечен этот фрагмент большого романа! Он приведен для примера; на самом же деле благородным и острым любованием жизнью во всех ее проявлениях, от событий трагических и брутальных, таких, как публичная казнь, до будничных – вроде приведенного выше, – пронизан весь пласт леонтьевской прозы.

Впрочем, у эстетизма, как психологического явления, свои законы. Его влечет ко всему неординарному, выходящему из ряда, в том числе и в области человеческих чувствований.

«Я хотел унести поднос; но ходжа схватил поднос за край рукою и спросил:

– Знаешь ли, дитя мое, кто был Саади? Я сказал, что не знаю и не слыхал.

– Саади, дитя, был стихотворец, – продолжал Сефер-эффенди, одушевляясь. – Вот что сказал он про тебя, мой сын: “Этот кипарис прямой и стройный предстал перед мои очи; он похитил мое сердце и поверг его к стопам своим. Я подобен змее с раздавленной головой и не могу более двигаться... Этот юноша прекрасен; взгляни, даже когда он гневается, как приятна эта строгая черта между его бровями”. А Гомман-Эддин, другой стихотворец, сказал иные слова, про тебя же: “Одним взглядом ты можешь устроить наши дела; но ты не желаешь облегчить страдания несчастных”. Это что значит, мой сын? Это значит, что ты должен всегда оставаться добродетельным!

Я от этих неожиданных похвал и советов его так за-

стыдился, что ушел в другую комнату... »

Не правда ли, в приведенном отрывке нет ничего, могущего оскорбить строгие вкус или нравственность? Он отмечен ориентальным колоритом, изобилует цитатами из арабской поэзии... Ну что же, возьмем отрывок чисто «бытовой», если можно так выразиться.

«Если случалось, что Джемиль чего-нибудь не хотел или на что-нибудь не соглашался, Аристид упрашивал его ласковыми словами: “Ага ты мой прекрасный! Паликар ты мой! Кипарис ты! Апельсин ты! Лимон ты мой!...” И ленивый Джемиль, потягиваясь и зевая, соглашался. Иногда, когда он уж очень упорствовал, то Аристид... молча брал его обеими руками за его полные щечки и говорил: “Поди сюда, дитя мое!”, – и целовал его в губы и глаза. Тогда Джамиль шел за ним покорно, как раскрашенный весной ягненок».

Признаем, что у эстетизма – свои причуды. В том числе, зачастую, повышенный, пусть и чисто альтруистический, интерес к тому не совсем ординарному в людских отношениях явлению, по поводу которого Пушкин, комментируя строку Кюхельбекера «В Суворова влюбленный пел Державин» говаривал, что он «находит в ней нечто греческое...»

В длинном и обстоятельном повествовании обязательно найдешь и с улыбкой приветишь мелкие подробности чужой жизни, разительно схожие с нашими, сегодняшними. «Зельха... начинала жевать мастику и, надувая ее воздухом, делала из нее пузыри и дразнила меня ими».

Или: «У меня есть кейф сегодня. Я умоляю тебя, не порти мне кейфа!»

Не стану комментировать. Улыбнусь вместе с вами.

Роман «Одиссей Полихрониадес» создавался Леонтьевым, когда тот уже был в отставке, вдалеке от сиюминутных требований службы по Министерству иностранных дел, службы, которую нес он со всем подобающим тщанием и на которой мог бы еще преуспеть, если бы не мощный духовный кризис, приведший эту изощренную и тонкую барскую душу к исповеданию, так сказать, изначального, еще в детстве воспринятого им православия. Эта вещь, в смысле идеологическом, суммирует плоды размышлений и живых наблюдений, накопленных им за время пребывания на Востоке.

Мыслитель, оригинальный во всем, далекий от господствовавшего в тогдашних журналах фаланстерно-социалистического проекта на будущее, он не может согласиться и с более близкими ему славянофилами, и с панславистами, справедливо предполагая, что силы Российской империи могут быть использованы, при славянской ориентации, в целях чуждой ее интересам политической игры (попытки чего можно наблюдать и в настоящее время).

Он решает вопрос по-другому: место дряхлеющей Оттоманской империи следует занять империи более жизнеспособной, Российской, долженствующей объединить под своей гегемонией все провинции Второго Рима, да и не только. Русофил Дели-Петро, ораторствующий в янинской гостиной, декларирует, как мне кажется, мысли самого Константина Николаевича:

«У русских есть нечто, – продолжал он, – и властительное, и примиряющее!.. Посмотрите у нас здесь. Грек ненавидит турка; турок ненавидит грека и араба; автохтон

Эллады не хочет признавать одинаковых прав за греком, вне свободной Эллады рожденным; болгарин тех стран, где я живу, как мне кажется, презирает болгарина-шопа; Сербия и Черногория в антагонизме; друзы и марониты пылают друг против друга зверскою враждой...

А русскому все равно. Ему всякий брат. “Э! Брат! Брат!..” Только не бунтуй против государя. Этого русский требует… Я вижу, что русские могут одинаково действовать с успехом и на мусульман, и на православных, и на буддистов, и на последователей Конфуция... Тут могут быть сокрыты гигантские предначертания исторических судеб. Был граф Амурский – будет граф Заамурский, будет граф Брамапутрский...»

Круто, не правда ли? Что уж там мелочиться? Если замах, то вселенский... Воодушевляет. Как там у Киплинга? «Несите бремя белых, и ваших сыновей, та-ра, та-ра, та-ра-та, за тысячу морей!»

Впрочем, то, что так здорово и подъемно в поэзии, на практике может обернуться трагедией. И глупенькие и смешные япошки, с таким снисходительным и наивным превосходством описанные в книге «Фрегат Паллада» (не желаете ли еще *горячей воды*?), к концу века понастроят дредноутов, отработают химический процесс шимозирования и ответят романтическому империализму – Цусимой.

И русская армия, ушедшая на Первую мировую войну в какой-то степени из-за обладания Проливами, действительно встанет лагерем на берегах Дарданелл, но лагерь тот будет – Галлиполийский...[1]

Говорю об этом к тому, чтобы лишний раз подчер-

[1] Галлиполийский лагерь — лагерь разоруженных белогвардейских войск в окрестностях Стамбула.

кнуть, как опасно руководствоваться в политике мифологией, сколь бы ни была она убедительна и победительна на бумаге и сколь бы высокие головы ее ни формировали.

В имперской идеологии всегда есть нечто от «князя мира сего», нечто «светски-политическое», приспосабливающее вечные темы Христовой проповеди к временным целям внешней экспансии. Тут нужны мера и осторожность. Тут очень легко впасть в соблазн. Почитайте хотя бы византийского историка Пселла; с какой легкостью и изуверскою гибкостью он оправдывает самые страшные преступления, творящиеся вокруг императорского трона!

Сразу оговорюсь – Константин Николаевич Леонтьев хорошо понимал разницу между внутренним, личным, истинным православием (ведь Христос обращался не только к народным руководителям, а к каждому, имеющему уши, чтоб слышать) и политической его антитезой.

«Но отец Арсений был истинный, искренний поп; он был и патриот, конечно, как всякий грек, но православие *политическое* никогда не могло в нем исказить и затмить вполне *духовного*, настоящего православия, простой и великой мысли о *загробном спасении многих душ*, осужденных неизбежно здесь на земле вечно страдать и вечно грешить! »

Как видим, он понимал... Но мыслитель, тем более такого масштаба, не бывает вполне однозначен. Тут каждый берет для себя – свое. И отсекает лишнее. Иногда, соблазнившись не без помощи вдохновенного, но всего лишь земного учителя, отсекает и главное.

В 1991 году в Москве вышла книжка Леонтьева «Еги-

петский голубь» (роман, повести, воспоминания). Автор предисловия – В. Котельников. Что же здесь В. Котельников, как бы вскользь, преподносит?

«Замечательно, – пишет он, – что не только в христианстве, но и в псалме Леонтьев находит родственное своей натуре начало...»

Ну вот. Приехали. Неужто Леонтьев подсказал В. Котельникову выбросить из христианства Псалтирь? Я так не думаю. Но тенденциозно-политическая присадка, каких не чуждался и Леонтьев, здесь очень чувствуется. Только доведена до прямого богоотступничества. Автором предисловия движет та же эмоция (как может Ветхий Завет каких-то евреев, частью которого являются и Давидовы гимны, быть Заветом моим?), которая двигала гностиком-еретиком Маркионом, ненавидевшим Бога-Отца. Может быть, в таком случае, стоит обратиться за духовной наукой прямо к Маркиону – ведь и он был, на свой лад, мыслителем многомудрым?

Тут, к слову, хочется сказать о невиданном социальном феномене – массовом неофитстве. В последние годы очень многие обратились к христианству. И это, конечно, прекрасно. Но и опасно в каком-то смысле, потому что новообращенный еще не обладает достаточным религиозным опытом, он еще должен многому научиться и многое ощутить. И пока что, в силу своего незаконченного духовного ученичества, способен на довольно-таки брутальные слова и поступки.

А когда он берется за перо, получается подчас что-то вроде следующего: «А там открывается человеку красота горняя, там торжествует любовь премирная, там, в обла-

сти духа, разрешается неразрешимое на земле, и отблески Света горнего лежат на лицах земных праведников» (В. Котельников. «Парадокс о писателе»).

Что сей сон значит? «Там» они, отблески, «лежат», или здесь? Если «там», то вроде бы уже не «земных». Или земных, но ушедших? В общем, путаница идет, и, увы, не случайная. Помолчать бы лет десять, подумать. Помнится, в «Братьях Карамазовых» был некий старец, завистник Зосимы, который утверждал, что есть Дух Святой, а есть «Святодух». Я не большой знаток новой московской философии, но сдается мне, что подобные «духовные» экзерсисы подсказал как раз «Святодух».

Литературоведческий, этнографический, исторический анализ большого романа «Одиссей Полихрониадес» – еще впереди. Но читается он – с неизменным интересом, познавательная ценность его – высока, а слог зачастую взлетает до лучших образцов русской классической прозы. Так что, я полагаю, быть ему и вправду – «многовременным».

# НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АЛЕКСАНДРЕ МИРОНОВЕ

Давнему петербургскому наблюдателю, пересекшему Кировский мост пешим ходом не менее тринадцати раз, открывается одна немалозаметная особенность: небеса наши необозримы и многоцветны. Путешествуя по стране, бывая в разного рода весях и поясах, я понял одно: другие места украшены *дольнею* своей пестротой, но небо их – однотонно.

У нас – иначе, ибо серенький колер, ну, разве, иной раз, кирпичный или же пряничный, омывает зрачок переулками бредущего проходимца. Иное дело – на небе... Опаловым, лимонным, слоисто-агатовым зыблется воздушная твердь над твоею забубённою головой. Глаз посрамлен величием и переменчивостью многоразличных цветов и оттенков, на фоне неизменяемой, хоральной, так сказать, запредельности.

Довершают же преткновение два основу в сознании пролагающих символа, вчеканенных в петербургские небеса: корабль – символ посюстороннего нашего путешествия, и архангел – символ конечного преображения в звуках трубного его клика.

Что же делать бедному юноше, предстоящему с задранной головой и разинутыми зрачками? Эй, да беретик лови, эк, куда укатился, прямо под колесики говновоза... Слякоть, дрянь весенняя, хлябь...

А ночью вдруг проснется в холодном поту. Там архангел, архангел трубит, конец света, бежим!.. И только потом, погодя, осознав, заключает: «Что же бежать-то? Наоборот!» И долго, истово мо... Ну, скажем, моет стаканы.

Таковы, знаете ли, простые, будничные черты нашей ленинградской эсхатологии. Но не к простым и отнюдь не будничным следствиям ведет оно иной раз. Иной раз оно и возопит в человеке мучительно-мелодическим голосом:

Могильный островок, соль в земляной солонке,
Крупицы соли в рясах земляных,
Изящество поста, изысканный и тонкий
Над трапезой благословенный стих.
Я там умру в июле на молебне,
До времени, когда воскреснет плоть

С трубою ангельской. Что может быть целебней
Господней крови, разве сам Господь!

Не могу избавиться от ощущения, что в прекрасных стихах этих, воспевающих благолепное монастырское житие и чудесное таинство евхаристии, есть оттенок, если можно так выразиться, богоядческого садизма. Не знаю, прав ли я здесь, и не настаиваю на своей правоте. Но тонкие яды психологического надрыва бродят в поэзии Александра Миронова, и винить его, право, не в чем. Таково брутальное следствие утлого проплывания в виду яркого архангельского рожка, установленного чуть ли не в лоб тебе. Всеконечно, благостно оно, а и страшно. Блаженство оно вызывает, а и душевные корчи провоцирует. Трудно ли в подобном нервическом состоянии вылепить что-нибудь вроде следующего:

...и мы смеялись... Но какой тут смех,
когда земля стонала и дымилась?

Заплакали... и вдруг вкусили милость,
а там уж, глядь, и благодать явилась,
но оказалось – просто свальный грех.

Да-а... Иной раз не выдержит обостренное восприятие, и потянет его носителя, ну, там, мучить кошек, наказывать смертью жуков или еще что-нибудь в этом роде. Случай, в общем, в среде поэтов распространенный. «О, как страшен и вечен играющий нами!» Действительно...

Есть во всем этом и обратная сторона, уж не психологического, но общекультурного свойства. С развитием литературной техники, и вообще гуманитарного древа, многие, незыблемые, думалось, указатели вечной культуры смазываются до уровня общих мест. Для того же, чтоб обновить взгляд читателя, чтоб не проскальзывал он по лаково текущим строкам, приходится разнимать существующие клише, прибегая к образам все более шокирующим. Пока что, увы, это единственный способ преодоления культурной энтропии, способ, небезопасный, прежде всего, для самого художника. Ибо деструкция, при отсутствии сильной кормчей руки, может сожрать самое структуру.

Эсхатологические мотивы, конечно же, не единственные в стихах Александра Миронова, которые богато разветвлены тематически. Исторические судьбы и перспективы родной страны, жизнь отдельно взятого впечатлительного гражданина, прозябание всяческих дольных лоз, да и местных духов, ими руководящих, – все это входит в поэзию Александра, как и многое еще другое. А стало быть, читать и слушать его не скучно. Правда, атмосфера его стихов несколько чересчур утонченна, интеллектуали-

зированна. Постоянно вращается мысль поэта в известном кругу культурно-религиозных ассоциаций. Конечно, в этом мысленном озере он искусно лавирует, идя то по ветру, то бейдевинд, но лучшие и наиболее проникновенные его стихотворения – есть стихи лирического простора, где чувству не тесно, что, на мой взгляд, и соответствует главному свойству таланта.

Вообще, чрезмерная внедренность в культуру – свойство для современной поэзии характерное, и не то чтоб особенно положительное. Объясняется она очевидным фактом культурного перерыва, возникшего в трудную для России годину. Восполняя этот пробел, художники моего поколения несколько пересаливают. Если Осип Мандельштам, творчество которого оказало несомненное влияние на поэзию Миронова, часто прибегал к культурным ассоциациям, то за словом в карман не лез. Посетив вольнослушателем Сорбонну и Гейдельберг, будучи человеком высоко – на старинный лад – образованным, он чувствовал себя в растворе культуры – отечественной и мировой – как рыба в воде. Не было в его мыслях несколько форсированного настаивания на своей просвещенности, чуточку чрезмерной заинтересованности культурными вопросами. Поэтому в его органически изощренной поэзии много свободы и легкости. Как, впрочем, и в лучших стихах Миронова.

Зато, может быть, нет в поэзии Петербурга стихов, столь совершенно укомплектованных мелодически, и в этом – их самая сильная сторона. Мелос вообще не такая простая штука. Суть его не в гармонии лишь фонетической, но в пении мелодически сочетаемых смыслов, заключенных в стихе. Это – особый дар Божий.

Хочется сделать несколько банальных, может быть, замечаний по поводу религиозной поэзии вообще. Литургические тексты не есть поэзия только, сущность их – не от мира сего, и гадкое насекомое тот, кто воспринимает их чисто гедонистически. Светская же поэзия, хоть запихни туда весь византийский словарь, не станет никогда литургией, разве что, при известной настойчивости, пошлой пародией на нее.

Поэтому обвинения в адрес Миронова в том, что стихи его неканоничны и даже опасны, – обвинения эти неправомочны. Ибо светская поэзия по природе своей канонической в религиозном смысле не может быть. Глубокая же осведомленность поэта в христианской догматике позволяет ему избежать безвкусицы и прямого кощунства, что, применительно к стихам на религиозный сюжет, по сути одно и то же.

Сейчас в Петербурге вообще много хороших поэтов. Некоторые из них начинали свой творческий путь под сенью той примечательной гипсовой мамы, что и по сию пору украшает сильно с тех пор поредевшие кущи в садике у Зимнего стадиона. Два мальчика и сейчас играют на ее тяжелых коленях. Помнится, какие-то ужасные злоумышленники то и дело отбивали у мальчиков руки.

Но с упорством, достойным лучшего применения, аноним, ответственный за сохранность скульптурной группы, восстанавливал оную; правда, дабы рассеять однообразие этой работы, он вкладывал в руку младшего то кубик, то – мячик, то – пустою ее оставлял. Если снять это дело немыслимым двадцатисчемтолетним рапидом, получится, что мальчик фокусничает, материализуя и растворяя в руке разные штуки, по примеру индийских факиров.

Наверное, этот тяжеловатый образ может служить метафорой судьбы поэта вообще, поэта, чья основная работа – создание и разрушение иллюзорных значений. Тем больше относится это к Миронову, что в чертах магического мальца явно проглядывают знаки портретного сходства с ним.

Когда ж озираю второго из застывших в продолженной игре пацанов, несколько более сдержанного и сурового, с чертами рановременно проявившейся зрелости, на фоне пылающих облаков, то к изумлению своему ощущаю, что это – многажды возле описанной мамы гулявший поэт Владимир Ибрагимович Эрль.

Но – шутки в сторону. За гранью тридцатилетия человек, как правило, становится более вдумчивым и смиренным, а потому – более мудрым. Не всегда это совместимо с поэзией. Но, совместившись, дает особенно сладкие и насыщенные плоды, достаточно вспомнить позднего Пушкина. Так что – еще не вечер.

# ЧТО ТАКОЕ «БОГЕМНЫЕ ХРИСТИАНЕ»?

Читателю, впрочем, и так ясно в общих чертах, что за птица такая – «богемный христианин». В большей или меньшей степени он и сам сюда принадлежит, или общался, или наблюдал. Но явление заметное – оно не было толком в литературе обозначено и заинтересует если не современников, то хоть будущих историков, впрочем, как повернется.

Вообще понятие «богема» относится скорее к кругу окололитературному, околохудожественному, околоартистическому. Характеризуется оно, прежде всего, крайней степенью плотского и духовного разгильдяйства. В начале века, впрочем, существовала в России еще богема политическая. В наше время ее место заняла разновидность, казалось бы, в природе невозможная, по парадоксальности сочетаемых сущностей, – богема «духовная» и, как ее подвид, – богемные христиане. Входят в него люди разного возраста – от двадцати до сорока, но преобладание – молодежное.

Казались они эфемеридами, первые представители этого летучего племени, пригнездившиеся где-то у подошвы шестидесятых.

Слонялись, помнится, двое братьев-проповедников; кто-то удачно их обозначил – «апостолы злачных мест». Смотрелись они экзотично – в вязаных шлемах каких-то из грубой шерсти, с раскудрявыми бородами и немытыми шеями, выражались темно и для чуткого уха ужасно.

Боязно пересказывать ту бессвязную и в значительной степени богохульную чепуху, которую они ничтоже сумняшеся проповедовали. Однако же слово, исковерканное опасным, бессветлым юродством и самодельною рас-

судительностью, тогда прижилось – ибо много скопилось ищущих душ, алчущих и жаждущих правды, и, даже усеченная и компрометированная в изустной непочтительной хлестовне, она привлекала.

С годами эти люди распространились, явление оформилось и приобрело некие стойкие, неотчуждаемые черты. Первый и главный элемент его – игровой.

Вообще элемент неосознанной игры присущ современному человеку . Двойное мышление – психологическая черта, отмеченная еще Оруэллом, – пережило свой твердый социальный характер и приобрело отчасти игровой. В «духовной» сфере, как и в прочих, это проглядывает с большей очевидностью. Совершая некий психологический перенос, люди, интересующиеся, скажем, йогической литературой, называют себя йогами. Буддийской – буддистами. И так далее. Вспоминается недавняя беседа (очень характерная) с одним из знакомых. Он рассказывал о некоем христианском кружке следующее: «Раньше они на дзене кайф ловили, а теперь на христианстве *торчат*».

Этакое «торчание» на существенном, игровому подходу не подлежащем, и создает главный контекст «богемного христианства». Юноши, воспитанные в духе атеистическом, впитавшие атмосферу религиозного индифферентизма, не могут прийти к чистому верованию в простоте и искренности. По крайней мере – сразу. Не хватает им ни терпения, ни, тем паче, смирения, противоположного общепринятой установке на гуманизм. Годами они «интересуются» вопросами религии, «играют» в духовное. Издержки воспитания (не столь уж бездейственного и бессильного, как принято считать) – годами не изживаются. Моральный климат, по природе своей – языческий,

позволяет им, махнув рукой на сущность доктрины, ими же провозглашаемой, сказав: «А это дело другое», – поступать по иным, черным заповедям, не писанным, но имеющим место быть. Поэтому так характерны для этого круга оргиастические эксцессы, «пьянство, сытость, блудострасть» – по выражению современного поэта. Потому-то и становится возможным в реальной жизни противоестественное сочетание богемного и христианского.

Размягчающее, инфантильное веяние «хиппейной» культуры, идущее отчасти с Запада, приводит к тому, что в особенности двадцатилетние живут только мечтою – не делом. Это относится не только к сфере религиозной. Часто вызывает раздражение простая, казалось бы, просьба, обращенная к юноше, называющему себя писателем или художником: «Дай почитать рассказ» (или – «картину покажи»).

Высказав подобную просьбу, чувствуешь, что нарушил некую неписанную заповедь, которую можно сформулировать приблизительно так: «Торчи и дай торчать другим», – заповедь, утверждающую жест, приносящую удовольствие и щекочущую тщеславие игру в дело, но не само делание. Так и христианство свое подают они миру казовым концом, а с другого – какой только дряни не накопилось!

Играют по-разному. Поют по пьянке акафисты. Валяются на полу и целуются. Говоря о духовном, переходят вдруг на киношное оканье. И так далее и тому подобное.

Другая, и не менее существенная черта, отличающая «богемного христианина», – это твердое и невозмутимое сознание собственной исключительности. Весьма поверхностная «нахватанность» в вопросах церковно-религиозных и любовь к разговорам на эту тему воспри-

нимается как некая нравственная регалия, возвышающая их над сонмом непосвященных. Происходя из различных социальных слоев, обладая разным уровнем образования и интеллекта, все они сходятся на том, что их круг – «самое то», «самотá», по сочному выражению одного из характернейших представителей «богемного христианства». Плотники и рыбари, окружившие Христа, показались бы многим из них недостаточно «подкованными». С простецкой бабкой, всю жизнь проходившей в храм, мало кто найдет общий язык. А в иную минуту, наблюдая пьяного и сквернословового «братца», она и сама с ужасом отвернется.

Итак, глубокий духовный труд разменян игрой, страх Божий – гордым сознанием исключительности. Сомнения, и немалые, вызывает так же характер богемной «соборности». Реализуется эта «соборность» через маленькие кружки – «хунты». Что же такое «хунта» в разрезе?

Приходишь в какую-нибудь замусоренную комнату. Сидят на диване два-три «плановых», посылая друг другу сладко дымящуюся папиросу. Глаза томные. У стола кто-то давит из общего стакана темную «бормотуху». Некий юноша, очень на вид «голубой», жеманное что-то плетет милым голосом. Девица, не сказать, чтобы слишком причесанная, где-нибудь у трюмо примостилась, мусолит пухлую книгу, не то – отца Павла Флоренского, не то – Иоанна Кронштадтского. Запах «дури» ей не мешает. Кто-то спит на пальто – ему уже хорошо.

Итак, подобное стремится к подобному. Зачем же пилили первых христианских великомучеников, вздергивали на кресты, скармливали хищным зверям? Ради этого сомнительного комфорта? Что-то не очень верится. Слова «где двое соберутся во Имя Мое» – очень трудно сюда от-

нести. Непуганая какая-нибудь рабочая девочка – и та затоскует, никогда уж сюда не вернется.

Каковы же мотивы этой случайной общности? Мотивы – атавистические, идущие из глубины времен, от древних языческих цивилизаций, где людей соединяла не общность духовного идеала, основанная на личном приятии Благой Вести, а та массовость, муравьиность, которая делала человека слепою частицей, интуитивно лепящейся к огромному человеческому организму, осознающему себя только в целом; подобный характер мироощущения унаследован позже татаро-монгольской ордой, оттуда он и в России укоренился и существует как далекий, ослабленный в «хунту», но вот ведь – живучий инстинкт.

Короче, корни «богемной соборности» – корни языческие. И атмосфера «хунты» об этом убедительно свидетельствует.

Таковы, вкратце, черты богемного христианства. Замечу, что не считаю это состояние, относительно распространенное, состоянием твердым и окончательным. Для большинства – тех, кто сохранил крепкий нравственный инстинкт, оно – переходно. С годами они принимают более строгое и чистое исповедание. А некоторых (самых защищенных) и вообще в «богемное христианство» не занесло. Жизнь свою они строят прямо по евангельским заповедям. Или, во всяком случае, стараются так построить.

Да и в самом этом движении – не только дурное содержание. Поиски лучшего, идеального накладывают на его представителей свой романтический отпечаток. Да и нельзя же, право, повторять святые слова, ничего в себя не впитав. Хочется думать, что характер движения изменится, богемный дух свой оно переболеет. Как-то, по-моему, к этому дело клонится.

*1979*

# ВАЛЕРИЙ ВАЛЬРАН. СУТЬ КОНТЕКСТА

1

У великого новеллиста О'Генри один из его замечательных жуликов, желая поддать туману и объегорить очередного деревенского простофилю, произносит звонкую, но невнятную, вроде бы, фразу: «Победа разума над Сарсапариллой! »

Один современный русский поэт уточнил понятие: «Скрым-тым-ным! »

Бегство от той самой Сарсапариллы – обязательно в Петербург.

За спиной душные, пропахшие подростковыми испарениями рекреации суворовского училища, маленькие кирзовые, вязнущие в раскисшем среднеазиатском лёссе прохоря, – это Гаврильчик.

Или припорошенные свежевыпавшим снегом мохнатые еловые лапы за рядами колючки (станция Ижма, Коми АССР). Это – Козиев.

Или – бухое ярило коммунистической Балахны (получается Лебедев).

В Москву – ни к чему, там уж очень уж много вот этого: «Скрым-тым-ным!» Никакого контраста не получается. Никакого побега. Невозможна победа – над Сарсапариллой. Поэтому – Петербург.

Тут можно, к примеру, опуститься в богемный подвал. Но не та же ли там по утрам с похмела стережет?

Можно – а Вальрану и нужно – иначе. Изучать математику, защитить кандидатскую по психологии. Для ясности в мыслях. В целях победы разума над.

Глядишь, и великий знаток и разумник Пунин невзначай подвернется, прошелестит между делом с книжной страницы приблизительно следующее: «Есть некоторая ущербность для живописца в чрезмерной любви к природе».

Так что начнем работать, пожалуй, в ситуации беспредметности. Тем паче, что еще не простыли яркие кушанья Поллока, еще жив и работает, на загляденье, Евгений Михнов.

Первые работы Вальрана исполнены в манере экспрессивной абстракции и ташизма. Их отличает, прежде всего, незаурядный талант композиции.

Но как-то это все, понимаете, уже было... Надо нащупать свою, неторную тропку.

Так. У каждого предмета есть стенка, отделяющая его от остальных. Рыба отделена чешуей. Яйцо – скорлупой. А яблоко – бледною кожицей, и в этом – обязательная и вечная данность. Иначе – какая-то окрошка получится, хряпа, Сарсапарилла... Стоило ли бежать от нее к блистающим и до боли ясным чертогам?

В 1975 году Валерий Вальран преподносит зрителю свой собственный жанр – жанр абстрактного натюрморта. Где твердые предметы – бутыли, стаканы, яблоки и раковины, прописанные с четким и недвусмысленным мастерством – расставлены на пространстве холста с холодноватою композиционною ясностью, выверенною точной рукою бывшего беспредметника.

Любителям «среды», «атмосферы» на манер Кончаловского – вряд ли такое придется по вкусу. Ни просыпанных на скатерти лепестков, ни – Боже упаси! – забытой дамской перчатки с ловким рефлексом от недопитого с ве-

чера рубинового графинчика – тут не обрящешь. Скорее – структуру, молекулярную решетку никому не известного вещества, узлы которого есть яблоки или яйца.

Объекты, вписавшиеся в нейтральный, лишенный содержательного значения фон, живут в то же время своей, особенно интенсивною жизнью. Постепенно проявляется их внутренний смысл, их семантика, заключенный в них, пользуясь юнговским термином, архетип. И, вглядываясь в крышку черепа, изображенного на натюрморте, вдруг интуитивно поймешь, почему медлительного зверька с твердым панцирем человек назвал черепахой.

Впоследствии можно подпустить исторической достоверности, поставив натюрморт из вещей Петровской эпохи или стиля модерн, что воспринимается как уступка по отношению к зрителю, но уступка возможная и даже необходимая, ибо любому творцу, чтоб не выглядеть безнадежным догматиком, необходимо как-то варьировать, в допустимых пределах, объекты и методы изображения.

На рубеже восьмидесятых годов происходит и освоение питерского пейзажа. Впрочем – определение неточное, – видно, что «освоение» произошло уже в мыслях, и даже самые ранние вещи этого цикла – продуманны, отчетливы, крепки. И, конечно, не «питерский» тут пейзаж – Петербургский.

Михайловский сад, Мойка недалеко от дворца, Дворцовая площадь. Приметы того самого «трагического империализма», о котором писал Анциферов в своей работе «Душа Петербурга».

Этот город лишен народонаселения. Он – пуст и топографичен. Он сам – существо, проникнутое какою-то словами не выразимою мыслью, строенный по некоему,

не людьми составленному, проекту, где холод железных крыш, кремовый, неконкретный какой-то свет, архитектура голых деревьев, архитектура пустых и величественных строений – создают уникальное, никаким другим образом не фиксируемое впечатление.

Первобытная, грязноватая магия действительной жизни, блохастая Сарсапарилла, шаманским бубном гремящая, мухомором опоенная – Скрым-тым-ным, перед этою, несколько ирреальною ясностью отступает, скрывается в подворотнях, на задних дворах, гниет за последними гаражами.

И наступает победа – катарсис несколько сдержанный, наслаждение строго отмеренное. Катарсис – действительный, наслаждение – подлинное. Чего же еще? *Умный* зритель нашего века, перенасыщенного слепою и разрушительной силой, которую лишь недальновидные призывают к себе в союзники, по высокому счету оценит отчетливую и чистую по настрою, мастерскую работу, проделанную незаурядным художником.

## 2

### *Письмо лучшему другу*

Нежному другу моему и названному брату Николеньке: Vale!

Как там у Пушкина, которым зачитывались мы с тобою на школьной скамье: В конце письма поставить – Вале.

Но не Вале я ставлю, и не в конце: Валя, как ты знаешь, нам изменила, изменщица, а латинским можно приветом тебя, любезного, одарить и вначале: Vale!

Вот и задумалось мне, сидя на мягком пуфике: в чем тайна женщины, ее легких изъятий, сносок и примечаний, курсива ее и нонпарели ее, скобочек, выключек и кавычек?

Не стану я, на санях сидя, углубляться в историю ее верности и перемены, туманного сдвига, легкого облачка, надышанного по морозу и тотчас же испарившегося сиреневого налета на петербургском стекле, так что осталась одна мечта: гладкая, плотная, холодная и скользящая. А с той стороны – и вообще – все затянуто голубым инеем.

Ты можешь, по своей еще с юных пор основательности, упрекнуть меня прямо в нелогике: то, мол на пуфике, а то – на санях.

Даже странно было бы услышать подобный упрек от тебя, человека в достаточной степени образованного. «На пуфике» – это в мастерской у Вальрана, глядя на живопись, а «на санях» – значит: будучи в средних летах, или более того – выражение, как тебе должно быть известно, чуть не Владимира Мономаха.

Впрочем, на государственные темы, если позволишь, несколько позже, а сейчас мне не терпится пересказать тебе те ощущения, которые мной овладели, когда я разглядывал собственно живопись – ино не ты мне наказывал: где что увидишь – тотчас на карандаш, и отчитывайся, войдя по хорошему в мое (это значит – твое) отдаленное, из-за крайней нужды, от культурных узлов местоположение.

Да, далеко ты, Николенька, удалился от сладкого солода и сливок, а уж толстый-претолстый слой шоколада... ладно, не стану. Так меня жалость, вишь, разбирает, что сразу на масс-культуру понесло. Как-то это, брат, связано –

простые сентиментальные чувства и масс-культура. Надобно бы построже ко всему этому относиться.

Задумал Вальранушко (это я – специально, чтобы слегка тебя поддразнить, памятуя о памятном мне к известной стилистике негладком относительно отношении) дело прелюбопытное. Разгадать тайну Вали (смотри в начале письма). Выделить субстанцию женственности простыми и подручными средствами, тем, любушка, более, что других-то художнику и не дано. Он написал шесть картин (заметь, число четное, женское), на которых в присущей ему одному манере расположил ограниченное количество заурядных (в глазах невежды) предметов.

Одна из картин – такая большая, два на полтора, или чуточку меньше, а другая, наоборот, вполне комнатная, не очень громоздкая, уж не упомню, сколько это будет в аршинах, локтях или дюймах. Называется – «Муся и Маха».

Муся – это кошка Вальранова, а Маха – это женщина Гойи, лежащая на хорошем кузнецовском фарфоровом блюде и загадочно улыбающаяся. И кошечка тоже – чеширской улыбкой. Впрочем, и Муся, и с Махою блюдо на столе не покоятся, а как-то висят, левитируют: что, вкупе со смещением привычных нашему заурядному глазу пропорций, создает специфическое, я бы сказал, ощущение.

И на других картинах – жены на блюдах, лишь одна – на медном подносе. Та, что еще у Дега расчесывала свои роскошные волосы. Есть обнаженки из Кранаха, Тициана, Джорджоне.

Я это дело так понимаю, с точки зрения излюбленной нами, Николенька, семиотики (надо же, с кухонной двери пришел жестянщик и четверть часа морочил мне голову

про отливы на окнах, но я его выставил, и – продолжаю). Разместить среди оторванных от текущей жизни предметов женщину, варьируемую а ля натюрель, вживе – было бы невозможно. Как если б изменщицу Валю в космосе без скафандра. (А неплохо б – изменщицу!). Лишь только ню, некогда размещенное на известной картине и приобретшее силу и скорлупообразную неразъемистость знака, будут смотреться средь прочих, я бы сказал, аллегорических изображений предмета – вполне равноценно.

То есть, у Вальрана не просто так – обнаженная, а – знак среди знаков. И вот – они сигналят друг другу, перемигиваются, динамят друг друга – только так! и возникает на Вальрановых холстах сеть напряженностей, которая каждый раз составляет динамическое содержание картины, каковое и есть вообще в картине – ее содержание.

Что же касается собственно обаяния обнаженных телес, то и оно – в несколько притушенном и уравновешенном виде на шести полотнах присутствует. Ну, конечно, не «гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные» в кабаках Истанбула, но – вполне привлекательные с виду обнаженные дамы; эро-с, не порно-с, с вашего позволения-с.

Да что ж я на вы, да со словоерсами к тебе, брат мой Николенька, приступаю? Куда же ж не залетит легковейное перо отчетчика о прекрасном!

Да и о чем говорить? Художник – он художник и есть, если честно, а картина – картина. Ну, это как, понимаешь, если бы чемпиона мира по сабле фамилия была Кровопусков. И поэтому мне не нравится, когда художники кучкуются вокруг мнимой идеи и годами ее талдычат, для понту. Другое дело – нынешний Флоренский – он не только не скрывает, но подчеркивает свою сближенность с искус-

ством русским и мировым, берется с того, другого конца, и вдруг – получается! Пронизывает! Приплыли!

Вот такое – мне нравится. За такое я – за. Да и ты, брат Николенька, верится мне, со мной согласишься. А быть может, и нет. В таком случае, если объявишься, сам и напишешь следующий отчет. Или продиктуешь. Договорились?

К слову! Помнишь, я обещал – о делах государственных? Когда мы ушли с Вальраном из его мастерской, и, разгоревшись от здравого мраза, проходили мимо памятника Петру Первому у Михайловского, я ему и говорю: «Заметь, говорю, Валера такую вещь. Полемику, запечатленную в бронзе. На Медном Всаднике Екатерина Великая приказала начертать: “Петру Первому – Екатерина Вторая.” Ну, как бы, “Достойный – достойному.” На что сынишка ее Павел, установивший другой памятник на его теперешнем месте, лукаво отвечал узурпаторше: “Прадеду – правнук”. Подчеркнув тем самым свои прямые династические права на Российский престол, коими мамаша не обладала. Смекаешь?»

Вальран ничего не ответил, только хмыкнул и удалился по делу. Но, к его чести, я скажу тебе на прощание: все эти вещи в смысловом своем качестве – соотносятся. Ибо только художник, сознающий свои династические права, свою потомственную преемственность по отношению к прежде бывшим, не убоится использовать издревле завещанный технический ход, а не то – и влепить чужую фигуру в собственное холстовое пространство.

Особенно это касается мастеров, работающих в Петербурге. Ибо город наш хоть и не столь древен, но вобрал в себя очень древние веяния, и отказываться от них

петербургскому художнику не пристало. Да никто и не отказывается.

Что-то кофею захотелось, Николенька. Намелем, наварим, напьемся... Ах, жаль, что не вместе. Ну, да хоть славны бубны, как говорят, за горами, да не вечна разлука. Бог приведет, так и стренемся. Помню о тебе, голубок. Твой навеки.

Евгений.

# ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

«Артистическое», если можно так выразиться, имя художника – Мурад Гаухман-S. Не говоря уж о том, что в очевидной своей части оно взрывчато, как арабо-израильская граница, хочется непременно узнать, что же стоит за таинственным S? Может быть, слово «спиритус», означающее вовсе не то, о чем вы тотчас подумали, а латинское «дух». Или тут скрывается слово «соккерер», то есть любитель европейского футбола на территории США? Я примирился с собою на слове «секс», ибо работы мастера, извините за уличный сленг, «вставляют», и «вставляют» изрядно. «Угрюмый, тусклый огнь желанья» исходит от его композиций, и с этим уж ничего не поделаешь.

Это вам не Ватто, украшающий свои эротические экзерсисы бледно-розовыми буше. Данные работы творит экстатический маг, разнимающий желание на составные; тут пахнет не марципаном и розами, старающимися отбить естественный запах, а, скорей, расчлененкой на пределе оргиастического безумия. Недаром его палитра зачастую темна, кровяна, багрова. Впрочем, во всяком безумии есть своя логика. Возьмем для примера выполненную в пастельных тонах работу «Эксгумация Сережи Каренина», где разнимается на крашеные куриные косточки не только жалобный детский трупик, но некое культурологическое понятие, которое существовало в нас естественным образом: «Сережа Каренин – бедная сирота».

Проходной литературный персонаж и не умирал вовсе, он бессмертен, но злой волхв Гаухман-S его одновременно хоронит, наскоро откапывает истлевшее тельце и кощунственно его разнимает. Хочется восклицать: «Мама,

мама, что мы будем делать?». А ничего. Пересматривать засевшие в мозгу стереотипы.

Апофеозом торжествующего сексуализма является картина «Вавилонская башня». Даже Брейгель Мужицкий не смог додуматься до такой грубости. Только Гаухман-S осмеливается, вопреки библейскому сюжету, достроить вавилонскую башню. Вся интеллигенция, глядя на какую-нибудь дорическую колонну, восклицает: «Фаллический символ, фаллический символ!». Но только торжествующий авгур кисти, Мурад, доведя процесс осмысления до конца, получает набухший и эррегирующий мужской член, уставленный прямо в небо! Это интеллектуальное действие сравнимо с подвигом оборзевших от воздержания средневековых монахов, которые историю грехопадения свели к половому акту (что, вообще говоря, весьма спорная версия). Крайности сходятся, господа!

Плутая по осно́вным, архетипическим, дохристианским пластам бытия, художник натыкается то на Астарту, то на Венеру, то на Гекату, то на убийственную богиню Сохмет – воительницу со львиной головой и отнюдь не гуманными намерениями; однако он успевает всех их запечатлеть в своем транс-очумелом сознании и выразить в материале. Именно в этой визионерской среде рождаются такие картины как «Праздник плодородия». Из нее торчат подлинные рога и вываливаются чуть ли не парны́е кишки жертвенного животного. И торжество жизни как торжество смерти восстает перед нами во всем своем допотопном величии.

Недаром одна из его центральных работ называется «Ангел Смерти».

Даже в собственной мастерской Мурад завесил картину толстенным брезентом. Потому что она, говоря попростому, опасна. Если не механизм, то примерный характер воздействия подобных артефактов я наблюдал в быту.

Приходишь в какой-нибудь интеллигентный дом. Там все чинно, уютно, угощают чаем и водочкой, но не отпускает какой-то нервняк. Не можешь понять, в чём дело. Потом замечаешь на стенке гипсовую, ярко раскрашенную маску богини Кали с черепами на голове; маску, в свое время модную, как Нефертити. А добрая хозяюшка жалуется. «Понимаете – говорит, – что-то здоровье в последнее время похилилось. То головокружение, то – дрожь в коленках...»

Из деликатности промолчишь, а сам думаешь: «Чего же ты хочешь, голубушка? Ты б еще вудуистского Джентльмена Субботу на стенку повесила! Или Ангела Смерти известного живописца...»

Я не случайно назвал свою реплику на работы Гаухмана-S «Жертвоприношение». Как, я надеюсь, следует из вышеизложенного, все мы, зрители, вытянувшие шеи в сторону созерцаемого искусства, автоматически превращаемся в жертвенных Исааков. В роли неистового Авраама выступает, конечно же, сам художник. И помилуй нас Бог!

Вспоминаю историю своей первой пьянки с Мурадом, положившей начало нашему многолетнему приятельству. Это были времена горбачёвского полусухого закона, когда и раздобыв чего-нибудь выпить, страшно было предаться возлияниям в общественном месте – того и гляди, заметут! С двумя бутылками портвешка мы затиснулись в какой-то тесный подвальчик под лестницей, где и распрямиться-то

было невозможно, Там, в полной тьме, выпивая на ощупь, мы и разговорились.

Тогда молодой Мурад ассоциировал себя с бомбардировщиком, причем, не простым, а Б-52, отбомбившемся, кажется, на Хиросиму.

«Поднимаешься на крыло, и летишь!» – говорил он с воодушевлением. С тех пор Мурад улетел далеко. Знаток греческой и египетской мифологии, создатель оригинальной эзотерической концепции, которая во всех его работах расставила свою огневую иератику – лишь смотри да прочитывай! – Гаухман-S вырос до ни с кем не сличаемого художника, идущего смелым, очень смелым путём.

Впрочем, я не забыл и того, что в подвале было тесно, таинственно и темно, а на воле – светло и сухо.

*2007*

# СОДЕРЖАНИЕ

## РАССКАЗЫ

Бестолковые похороны ..... 7
Здесь, на Синопской набережной ..... 15
Блуждающие огни (цикл коротких рассказов) ..... 28
Без названия ..... 28
Точильщик ..... 31
Блуждающие огни ..... 34
Внутри ..... 37
Монологист ..... 39
Психосветовое воздействие эрмитажных дворов ..... 46
Возведение сада ..... 56
Цветок Палестины ..... 71
Пес Мартин ..... 82
Всемирная паутина ..... 93
Ортопедический дискурс ..... 93
Маленький эксцесс эпохи застоя ..... 105
Всемирная паутина ..... 113
Вепрь угрюмый ..... 122
Золото инков ..... 130
Прокол ..... 139
Хтонический старец ..... 147
Утешительные итоги ..... 152
Ученик ..... 172

## ЭССЕ

Труды Константина из Петрополиса ..... 187
Леонид Аронзон ..... 195
Колодец в песках. ..... 201
Большая любовь и ее плоды..... 215
Блеск и нищета империализма ..... 234
Несколько слов об Александре Миронове..... 246
Что такое «богемные христиане»? ..... 252
Валерий Вальран. Суть контекста ..... 257
Жертвоприношение ..... 266

Отпечатано в типографии «Амиго-принт»
Усл.-печ. л. 16,32. Подписано в печать 10.03.2011